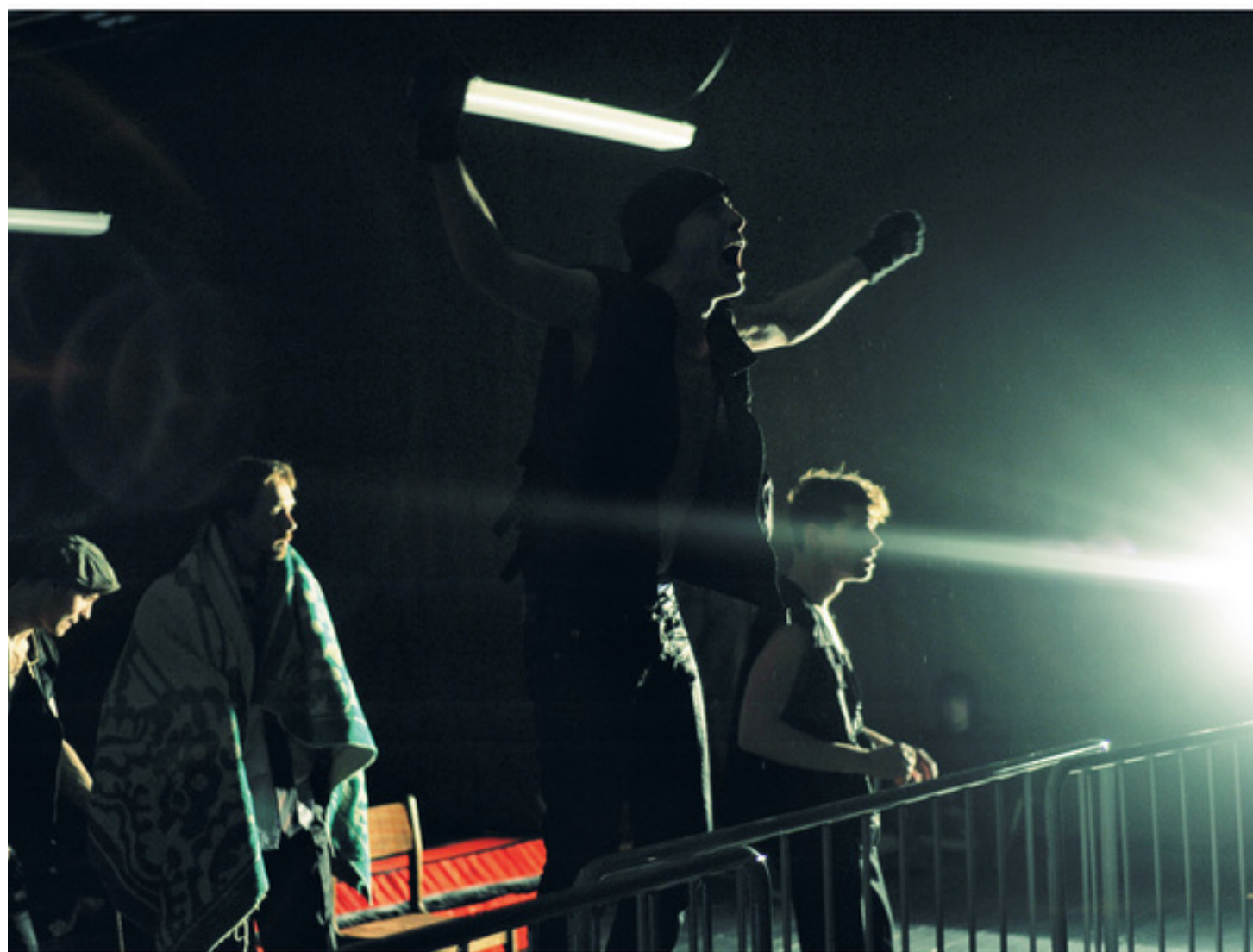


# Захар Прилепин

# САНЬКА



Они существуют в условиях мороза — в ситуации, противоположной оттепели, и их самих называют отморозками, но, тем не менее, они горячи, их мир раскален, температура там 500 градусов.

Кирилл Серебренников, режиссер спектакля

# ОТМОРОЗКИ

Захар Прилепин

**Санька**

«Издательство АСТ»

2006

## **Прилепин З.**

Санькя / З. Прилепин — «Издательство АСТ», 2006

ISBN 978-5-17-077198-1

Начало двухтысячных, молодые участники экстремистской организации «Союз созидających» под предводительством «философа, умницы и оригинала» Костенко захватили здание администрации с целью переворота... Герой романа – Александр Тишин, или Санькя, как зовут его бабушка с дедом, – оказывается в самом центре омовской мясорубки и жестоко бьется за свои мечту и правду... Роман «Санькя» вошел в шорт-листы «Русского Букера» и «Национального бестселлера», удостоен премии «Ясная Поляна», выдержал десять изданий и остается бестселлером.

ISBN 978-5-17-077198-1

© Прилепин З., 2006

© Издательство АСТ, 2006

## Содержание

Глава первая	6
Глава вторая	17
Глава третья	30
Конец ознакомительного фрагмента.	45

# Захар Прилепин

## Санька

© Захар Прилепин

© ООО «Издательство АСТ»

*Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.*

\* \* \*

Когда я сочинял эту книжку – торопился. Казалось, что нужно как можно быстрее высказать всё то, что накипело. Пока не поздно.

Но вот оказалось, что торопиться некуда. За годы, прошедшие с момента первой публикации книжки, жизнь только подтверждает то, что уже было сказано словами в «Саньке».

Нынче «Саньке» исполнилось пять лет, это десятое его переиздание – так что у нас первые юбилеи.

Теперь уже не торопясь, я заново прочел «Саньку» и все слова расставил в правильном порядке.

Набралось, наверное, с тысячу мельчайших правок. Тут я дал герою лишнюю минуту подумать, здесь переложил спичечный коробок, там нарисовал улыбку прохожему.

Но всё это, впрочем, определяющего значения не имеет. Это всё та же книга, с теми же героями, просто я чуть прибавил резкость.

Теперь всё стало так – как и было задумано.

*Захар Прилепин*

## Глава первая

Их не пустили на трибуну.

Саша смотрел под ноги: глаза устали от красных полотен и серых армяков.

Красное мелькало вблизи, касалось лица, иногда овевая запахом лежалой ткани.

Серое стояло за ограждением. Срочники, одинаковые, невысокие, вяло сжимающие длинные дубинки. Милиционеры с тяжелыми, бордовыми от раздражения лицами. Непременный офицер, молодцевато, с вызовом смотрящий в толпу. Его наглые руки – на верхней перекладине ограды, отделяющей митингующих от блюстителей правопорядка и от всего города.

Несколько усатых подполковников, под их бушлатами угадывались обильные животы. Где-то должен быть и полковник, самый важный и деловитый.

Саша каждый раз пытался угадать, какой он будет на этот раз – верховный распорядитель митинга оппозиции, ответственный за порядок. Иногда это бывал сухошавый, с аскетичными щеками человек, брезгливо гоняющий разжиревших подполов. Иногда он сам был как подполы, только еще больше, еще тяжелее, но в то же время – подвижней, бодрее, с частой улыбкой на лице, с хорошими зубами. Встречался также третий типаж – совсем маленький, как гриб, но стремительно перемещающийся за рядами милиции на быстрых ножках...

Ни одного обладателя полковничьих звезд Саша пока не приметил.

Чуть дальше, за оградой, зудели и взвизгивали машины, бесконечно раскачивались тяжелые двери метро, пыльные бомжи собирали пивную посуду, деловито рассматривая бутылочные горлышки. Человек с Кавказа пил лимонад, разглядывая митинг из-за спин милиционеров. Саша случайно поймал его взгляд. Кавказец отвернулся и пошел прочь.

Саша увидел неподалеку за оградой автобусы, помеченные гербом с зубастым зверем. Окна автобусов были зашторены, иногда шторы подрагивали. В автобусах кто-то сидел. Ждал возможности выйти, выбежать, сжимая в жестком кулаке короткую резиновую палку, ища, кого бы ударить зло, с оттягом и наповал.

– Видишь, да? – спросил Сашу Венька, непроспавшийся, похмельный, с глазами, оплывшими, словно переваренные пельмени.

Саша кивнул.

Надежда на то, что на митинг не пребудет спецназ, была невелика, и она не оправдалась.

Венька улыбался, словно из автобуса должны были в нужный момент вылететь не камуфляжные бесы в тяжелых шлемах, а клоуны с воздушными шарами.

Саша бесцельно двинулся в толпу, согнанную за ограждение.

«Как чумных собрали...»

Ограждение было составлено из двухметровых секций, вдоль которых с ровными промежутками стояли люди в форме.

Венька пошел следом за Сашей. Их колонна находилась в другой стороне площади, и уже был слышен чистый голос Яны, строящей пацанов и девчонок.

Многие из тех, кого нехотя разглядывал и касался, двигаясь, Саша, выглядели дурно и бедно. Почти все они были глубоко и раздраженно немолоды.

В их поведении просматривалось нечто обреченное, словно они пришли сюда из последних сил и желают здесь умереть. Портреты, которые они носили на руках, прижимая к груди, изображали вождей, и вожди были явно моложе большинства собравшихся здесь. Мелькало мягко улыбающееся лицо Ленина, увеличенная картинка, знакомая Саше еще по букварю. Выплывало на подрагивающих старческих руках спокойное лицо преемника Ильича. Преемник был в фуражке и в погонах генералиссимуса.

Им предлагали напечатанные на серой бумаге тонкие газеты, Саша отказывался, Венька весело огрызнулся.

Происходящее вызывало простую смесь жалости и тоски.

Несколько сотен или, быть может, несколько тысяч человек два-три раза в год собирались на этой площади – в какой-то неизъяснимой уверенности, что их печальные сходки станут причиной ухода постылой власти.

За минувшие со времени буржуазного переворота годы митингующие окончательно остарели и никого уже не пугали.

Правда, четыре года назад бывший офицер и, как ни странно, философ, умница, оригинал Костенко впервые вывел на площадь толпу злых юнцов, не всегда понимающих, что они делают среди красных знамен и немолодых людей. За несколько лет ребята подросли и стали известны своими наглыми акциями и шумными драками. Теперь разношерстного молодняка в партии Костенко набралось столько, что сегодняшний митинг решили обнести железной оградой. Чтобы не выплеснулось...

Иногда крепкие внимательные старики с интересом, надеждой и легким сомнением всматривались в Сашу и Веню.

На трибуне степенно перетаптывался депутат патриотической парламентской фракции. Даже издали было различимо его розовое, гладкое лицо отменно питающегося человека, что отличало депутата от всех рядом стоящих, серолицых и суетливых.

Депутат был одет в черное, дорогого покроя пальто. Барашковую шапку он снял – и стоял перед народом с непокрытой головой. Кто-то из челяди, толпящейся позади депутата, держал эту шапку в руках.

Под трибуной были развешены транспаранты с нелепыми надписями, которые никогда и никого не смогли бы побудить к поступку.

Саша морщился, читая.

Им не позволили выступить, посетовав на лимит времени, и мягко попросили не занимать лестницу на трибуну. Саша, стоявший на предпоследней ступеньке, смотрел снизу вверх в подбородок организатора. Организатор изображал необыкновенную занятость:

– Давайте, ребята, давайте. В другой раз.

– Что там с Костенко? – уже спускаясь, услышал Саша басовитый, внятный голос депутата. Депутат приметил красную повязку с агрессивной символикой на Сашиной руке и задал этот вопрос организатору, облегченно отвернувшись от Саши.

– Сидит, – донесся ответ, в голосе звучала нотка ехидства, впрочем, она тут же исчезла, когда депутат пробасил раздраженно:

– Я знаю, что сидит.

– Пятнадцать лет ему дадут, говорят, – поспешно и серьезно, уже с некоторым сожалением о судьбе Костенко, ответил организатор.

Те несколько мгновений, пока продолжался разговор, Саша стоял, не двигаясь, на ступеньках узкой лестницы, вполне откровенно подслушивая. Ступенькой ниже его ждала пожилая женщина, поднимающаяся на трибуну.

– Ну, ты спустишься, нет? – спросила она неприветливо.

Саша спрыгнул с лестницы на асфальт.

– Внизу покричите, – сказала она Саше уже вслеп. – Рано вам пока на трибунах...

Венька, ожидающий Сашу внизу, обо всем догадался и ничего не спросил. Похоже, ему было все равно, пустят их на трибуну или нет.

В карманах Веня перекачивал несколько десятков петард. Иногда он вытаскивал их по одной и вертел перед лицом, словно не понимая, что это.

– Нет у тебя курить? – спросил Веня у Сашки.

– Я тебе говорил...

– Да? – улыбнулся Веня озадаченно. – А что ты говорил?

Они вновь выбрались из толпы к своей уже построившейся колонне.

Яна, черноволосая, в короткой изящной куртке, с отороченными мехом капюшоном и рукавами, ходила вдоль рядов, выкрикивая команды. На ней были чуть расклешенные внизу голубые джинсы, выглядела она очаровательно.

Саша знал, что Яна была любовницей Костенко.

Костенко, да, сидел в тюрьме, под следствием, его взяли за покупку оружия, всего нескольких автоматов, а они, его свора, его паства, его ватага – они стояли нервными рядами, лица в черных повязках, лбы потные, глаза озверелые.

Непонятные, странные, юные, собранные по одному со всей страны, объединенные неизвестно чем, какой-то метиной, зарубкой, поставленной при рождении.

Где-то здесь был Матвей – тот, кто возглавил партию в отсутствие Костенко. Но Матвей сегодня не стоял в колонне, наблюдал со стороны.

Яна подняла к лицу мегафон и взмахнула рукой. Ее голос мгновенно растворился в едином вопле, осталась звучать лишь первая, рычащая, звонкая буква.

Саша еще стоял возле строя, не найдя своего места, но молодая его пасть уже была разинута в крике – краем глаза он видел испуганно взмывших с асфальта голубей, нервно дернувшегося офицера, стоящих у ограды срочников, сразу начавших перехватывать дубинки вялыми руками. Саша кричал вместе со всеми, и глаза его наливались той необходимой для крика пустотой, что во все века предшествует атаке. Их было семьсот человек, и они кричали слово «Революция».

– Тишин! – махнули ему рукой. – Иди сюда!

Он встал в первый ряд, крайним слева, рядом с Веней, похмельные глаза которого, еще недавно похожие на переваренные пельмени, стали красными, почти пригоревшими, словно их положили на раскаленную сковороду.

– Уйди, бабка! – смеялся Веня.

Возле строя стояла старушка, и в тот момент, когда строй на несколько мгновений смолк, Саша услышал ее голос, видимо, уже не в первый раз повторявший одно и то же:

– Дураки! Вы провокаторы! Ваш Костенко нарочно сел в тюрьму, чтобы стать известным! Вас жиды сюда привели!

Мимо, не обращая внимания на старушку, прошла Яна – чернявая, с лицом ярким и обнаженным, как открытый перелом.

– Нехристь! – выкрикнула ей в лицо старушка, но Яна уже ушла, искренне равнодушная. Бабушка порыла острыми глазками в строю и нашла Сашу.

– Жиды привели! – повторила она еще раз. – Вот ты жид! Жид и «эсэсовец»!

Сашу тихонько подтолкнули в спину стоящие позади, строй двинулся.

– Ре-во-лю-ци-я! – дрожало и вибрировало по всей площади, перекрывая бас на трибуне, переговоры милиции по рациям, голоса иных митингующих.

– «Союз созидających»! Ребята! – зывали к ним с трибуны. – Вы не кричать сюда пришли! Давайте вести себя пристойно...

Строй, размахивая красно-черными знаменами, двигался по направлению к ограде, мимо трибуны. Плотно, наполняя нудной болью ушные раковины, стоял неустанный крик.

– Президента! – выкрикивала звонко Яна.

– Топить в Волге! – отзывался строй в семьсот глоток.

– Губернатора!

– Топить в Волге!

– Ну, сделайте кто-нибудь что-нибудь, господа... – беспомощно воззвал выступавший, и это неуместное здесь «господа» донеслось до Саши и даже заставило бы его улыбнуться, если бы он не кричал хрипло, неустанно и до холода в зубах:

– Мы ненавидим правительство!

Все в округе вошло в ритм этого крика, от крика раскачивались двери метро, в такт крику сустились серые бушлаты, шипели рации, сигналили авто.

– Любовь и война! Любовь и война!

– Любовь и любовь! – переиначил Саша, увидев еще раз Яну, резко развернувшуюся перед первым рядом, капюшон ее взлетел и опал.

«Как сладко пахнет этот капюшон, внутри... ее головой...» – подумал Саша и сразу же забыл случайно мелькнувшее. «...Как тульским пряником...» – еще откуда-то вдогонку выпала мысль, и Саша даже не понял, о чем ему подумалось, к чему.

– Вы срываете митинг! – кричала, пытаясь схватить Яну за рукав, какая-то женщина, видимо, прибежавшая сюда с трибуны. – «Союз»! – зывала она к первому ряду, пытаясь заглянуть ребятам в глаза. – Вы же называете себя «Союз созидающих»! Что вы создаете? Вы создаете раздор!

– Митинговать сюда пришла? В этот загон? – спросила Яна, резко убрав мегафон от лица. – Вот и митингуй себе. Мы сейчас уйдем.

Они уже стояли у ограды, и Саша видел бегающие глаза милиции и распахивавшегося офицера, что-то кричащего в рацию.

– Да! – кричал он. – Пусть спецназ подходит. Эти, бля, «эсэсовцы» сюда лезут!

– Мы маньяки, мы докажем! – истово, ладно, хором орал строй, притоптывая и размахивая флагами.

Венька повернулся лицом к строю, спиной к милиции и ограде, и быстро раздал петарды следующему ряду:

– Поджигай!

Замолчала трибуна, все смотрели на звонко голосащих подростков.

Разом гакнуло несколько петард, следом в милицию полетел взрывпакет – плюхнулся возле шаркнувшего от испуга офицера и мутно задымился.

Саша увидел, как какой-то милиционер, не разобравшись в чем дело, развернулся и побежал неведомо куда по улице, лишь фуражка его покатилась.

– Ре-во-лю-ци-я! – раздавалось на грани истерики, и строй топал в лад кроссовками и разбитыми берцами.

Над строем вспыхнуло несколько фаеров.

Саша уже держал в руках оградку и тянул ее на себя. С другой стороны в ограду вцепились ошалелые милиционеры.

Из-за их спин размахивал дубинкой офицер, пытаясь попасть Саше по голове. Саша уворачивался, то отпуская оградку, то снова, опасно, словно за горячую, хватаясь за нее.

Офицер перехватил дубинку в другую руку и, изловчившись, сбоку вlepил удар Веньке, на щеке его мгновенно появился вспухший алый рубец.

– Древко! – обернувшись назад, бесновато улыбаясь одной стороной лица, крикнул Веня. – Древко сюда!

Ему передали знамя. Веня рывком сорвал материю и сразу же, мощно замахнувшись древком, обрушил его на офицера. Тот увлеченно тыкал гнущейся дубинкой кому-то в лицо и не увидел удара.

Фуражка офицера слезла на затылок, сразу потекла ровным ручейком посереде лба кровь и у переносицы разошлась по бровям, щекам и глазницам.

Офицер смотрел вверх, выворотив одуревшие глаза, словно пытаясь увидеть рану.

На плечо Саше легло, подобно копы, еще одно древко, ткань знамени свесилась вниз. Краем глаза он увидел другие знамена, направленные остриями в милиционеров и срочников, сдерживающих ограду.

Сзади на Сашу надавили еще раз, так сильно, что он повалился. Падая, Саша уперся руками в грудь срочнику, тот испуганно моргал, вертикально подняв дубинку, то ли не умея ей размахнуться, то ли боясь ударить.

Саша удержался на ногах, отпихнул срочника и, схватившись за секцию ограды, которую уже никто не держал, вознес ее над своей головой.

Неустанно орущая ватага вырвалась из загона. Милиционеры отбежали, в нерешительности глядя на происходящее. Кто-то повел офицера с разбитой головой к милицейской машине.

– Ребята, я вас умоляю! – запоздало кричали с трибуны.

Откуда-то сбоку уже набегали спецназовцы: дюжие ребята в камуфляже.

«Трое... – схватил глазами Саша. – Пока только трое».

Едва не вырвав суставы, Саша бросил ограду в их сторону. Она загрохотала на асфальте, не долетев до бегущих. Саша видел, что остановившиеся спецназовцы кричат ему что-то злое, но слов не разобрал. Они снова двинулись на него, и тогда Саша схватил еще одну секцию.

Брошенная ограда накрыла одного из спецназовцев, он криво завалился под рухнувшим на него железом. Двое других стали его вызволять.

– Сохраняем спокойствие! – выкрикивали с трибуны. – Продолжаем митинг!

Ребята рванули вперед, по проспекту. Милиция бессильно стояла, словно почетный караул, пропускающий в город юную, ревущую от счастья ораву.

Площадь перетекала в пешеходную улицу, но первым, на что налетели вырвавшиеся на свободу, оказались стоянка такси у дороги и торговые ряды с цветами.

Продавицы отбежали, хватая цветы в охапку. Впопыхах, еще не нарочно, еще по случайности бегущие сшибли одну урну или корзину с розами, тюльпанами и гвоздиками – и сразу понравилось, сразу зацепило. Когда к торговым рядам подлетел Сашка, вся улица была усыпана алым, желтым, розовым, бордовым. Все это хрустело под ногами, и стебли ломались.

Зачем-то Саша схватил несколько, наверное, три или четыре букета из еще не сброшенной наземь стойки с цветами и недолго бежал с ними, сразу поняв ненужность своего поступка. Пробегая мимо автостоянки, он видел, как испуганный таксист дал по газам и несколько метров вез по дороге уцепившуюся за дверь, еще не успевшую усесться пассажирку, завизжавшую истошно. Другие такси, сигналя и ежесекундно тормозя, срочно разъезжались.

Саша осыпал цветами сидящую на асфальте нищую беженку из тьмутаракани с неизменным младенцем на руках и едва не сшиб остановившегося у витрины, как видно в поисках подходящего орудия, Веню.

Веня приметил мусорную урну, и спустя мгновение она обрушилась на стекло, раздался грохот.

В это воскресное утро людей было еще мало. Редкие прохожие расходились, торопясь и даже не оглядываясь. Мужчина в синем плаще выбежал из магазина и затрусил вверх по улице. Ненадолго появился охранник в черном пиджаке и сразу же исчез в дверях, что-то крича в сотовый.

На другой стороне улицы стояла красивая иномарка – кто-то, презрев стражей дорог и права пешеходов, припарковался здесь. Машина давно уже верещала сигнализацией, чем, скорей всего, и вызвала раздражение бушующей толпы. Несколько парней со странной легкостью перевернули машину набок и затем завалили ее на крышу.

Выше по улице стояло еще несколько машин – и вскоре на их крышах с дикой, почти животной, но молчаливой радостью прыгали парни и девчонки.

Ища, что бы такое сломать, – причем сломать громко, с хрястом, вдрызг, – двигались по улице, впервые наедине, один на один с городом.

Ребята делали свое дело без крика, со спокойной ненавистью.

С жутким железным лязгом упало на асфальт несколько уличных игровых автоматов.

Кто-то изловчился расшатать и выломать оградку летнего кафе – с нее сняли красивые черные цепи, и оградка полетела в ярко раскрашенные окна заведения.

Кто-то порезался и намотал на располосованную руку кусок атласной шторы, извлеченной из кафе вместе с гардиной.

Костя Соловый, высокий, странной красоты, удивительный тип – в белом пиджаке, в белых брюках, в белых остроносых ботинках, которые удивительно шли к его заостренным ушам вампира, – схватил черную цепь и, ловко размахивая ею, обивал все встреченные фонари.

К нему не подходили близко – цепь делала красивые тяжелые круги, и если бы не дурной грохот вокруг, можно было бы слышать создаваемое цепью при круговом движении тихое подвывание.

За витриной магазина одежды стояли тонкорукые, с маленькими головами манекены – изображающие красавиц в коротких юбках и ярких кофточках.

Расколотив витрину, красавиц извлекли и порвали на части. Бежавшие последними не без испуга натыкались на валяющиеся повсюду изуродованные, безногие или безголовые тела.

Похоже, милиции все-таки удалось отрезать и удержать за оградой часть колонны «Союза» – Саша видел, что ребят осталось меньше, может быть, всего человек двести. Многие уже уходили во дворы, понимая: долго праздник не продлится.

«Менты!» – выкрикнули где-то, и орава рванула по улице вверх, роняя урны, обрушивая сувенирные лотки.

Раздавался беспрестанный звон разбиваемого стекла. Неожиданно яркими стали в это утро смешавшиеся и мелко перемолотые цвета города.

Среди бегущей толпы сновали с видеокамерой журналисты – деловитые и даже, кажется, счастливые от происходящего.

– Туда! Скорей! – погонял оператора человек с микрофоном.

Саша делал свое дело с ясной головой, отгоняя иные чувства, помимо желания разбить и сломать как можно больше.

На асфальте, увидел Саша, лежали плюшевые игрушки, служившие призами в разбитом и поваленном стеклянном игровом автомате, – розовые и желтые, жалкие, будто потерялись.

Невесть откуда, навстречу ребятам, выбежал невысокий милицейский майор пенсионного возраста.

– Стоять! – выкрикнул он, и в его вскрике сразу же почувствовалось, что ему самому страшно, и он не очень хочет, чтобы кто-нибудь его послушался.

Навстречу бежал Веня. Не останавливаясь, он подпрыгнул и ударил майора ногой в грудь. Тот упал, раскинув руки.

Саша резко встал возле старого майора, борясь с желанием поднять его, помочь ему встать и даже извиниться.

Майор судорожным движением хватался за кобуру, но не затем, чтобы извлечь пистолет, а из страха потерять оружие.

Он закричал нехорошими, матерными словами на Сашу, и тот передумал помогать упавшему и даже прыгнул на фуражку майора, валявшуюся поодаль.

– Что делаешь, ты? – спросил майор, усевшись на зад. Он очень глупо смотрелся – сидящий на асфальте, без фуражки, со слипшимися волосами на макушке, уже старый, казалось, человек.

– Вы сами во всем виноваты! – зло сказал Саша.

Он развернулся, чтобы бежать дальше, и был тут же подхвачен за рукав Веней, который повлек его в обратную сторону.

– Там «космонавты». Давай... куда-нибудь надо...

«Космонавтами» за их огромные шлемы называли спецназовцев.

Пробежав мимо вывески «Дары природы», на которой отсутствовали три оборванные, свесившие ножки, буквы «р», мимо разбитой красивыми зигзагами витрины, они влетели в зассанный дворик и тут же попали в тупик.

– Черт, я не знаю этого района! – сказал Веня, улыбаясь. И добавил, без паузы и тоже весело: – Там мочат всех наглухо, эти «космонавты». Затаптывают на хер. Они объехали нас по соседней улице, теперь сверху сгоняют вниз, к ментам...

Саша осматривал стены, надеясь обнаружить лаз.

– Лестница, – сказал Саша.

Вверх, на четырехэтажный дом вела пожарная лестница, но допрыгнуть до нее было невозможно – высоко.

– Давай ты встанешь мне на плечи, – предложил Веня.

Саша посмотрел на него, улыбаясь, и даже, наверное, с нежностью. Потому что Веня не сказал: «Давай я встану тебе на плечи».

– А ты здесь зароешься в песок, – ответил Саша.

– Прикинусь шлангом, – продолжил Веня и загоготал глупо. – Ой, тётъ! – он резко оборвал смех, приметив что-то.

Веня подбежал к окну первого этажа и забарабанил в стекло.

– Тётъ, не уходи!

Женщина вернулась к стеклу, взмахнула головой: «Что надо?»

– Нас догоняют! Там! Бьют и догоняют! Откройте окно! Догоняют! – Веня начал безумно размахивать руками. Он явно еще не решил, кого ему изображать: плаксивого юного идиота, и давить на «тётенка, пожалейте!», или серьезного молодого парня, у которого проблемы с законом: «Помогите, женщина! Со всяким может случиться!» В итоге две эти личины нелепо сменялись на лице у Вени, не вызывая у стоящей за окном женщины никакого доверия.

– Блин, хоть бы бабка какая была. Бабка бы пожалела, – выругался Веня, когда женщина, так и не ответив ничего, задернула шторы, впрочем, оставшись стоять возле окна: угадывался ее тяжелый силуэт.

– У нее наверняка другие окна выходят на улицу... – сказал Саша, оборвав свою фразу посередине: и так было ясно, что если женщина видела, что они там вытворяли, она их никогда не впустит.

– У нас еще минуты две... – прикинул Веня, явно прослушав ответ. – Санек, позабавься! – вспомнил он – «позабавься» было его любимым словечком, имевшим множество значений, в этот раз оно значило: «Сейчас я тебя удивлю!». – Там впереди нас спортсмен бежал, бегун. Утренняя воскресная пробежка у него. Он первым выбежал на спецназ. В красных трусах. Эх, они его нахерачили сразу. Дебилы, бля. Поправил здоровье парень.

Раздались шаги, и Веня застыл с улыбкой на лице, а Саше отчего-то захотелось присесть или даже прилечь.

Во двор вбежал Леша Рогов – парень откуда-то с Севера. Из Северодвинска, кажется.

Они были едва знакомы, но Саша уже приметил Лешку – оценив его твердое, ненапускное спокойствие.

– Вы что здесь стоите? – спросил Леша ровным голосом.

– Там уже менты? – ответил Саша вопросом на вопрос.

– Метров сто еще будет до них. Здесь тупик? Соседний двор, кажется, проходной. Я тут гулял вчера.

Улица вновь жახнула по глазам всем своим развалом и разгромом.

– Тачку подожгли! – выкрикнул Веня радостно.

В воздухе стоял раздрай собачьего перебреха, сирен, свистков.

Саша заметил еще две перевернутые машины. Одна из них – метрах в семидесяти ниже по улице – действительно горела. Никто не подходил к ней близко. Оттого, похоже, и не появилась пока милиция, что пугалась взрыва.

Вторая – качалась на крыше в десяти метрах от ребят.

Около нее пританцовывала под заходящуюся в вое сигналку баба-алкоголичка, с грязным лицом и влажными, словно изнанка щеки, губами. Баба улыбалась, раскрывая беззубый рот.

Поодаль стоял молодой человек с дипломатом, зачем-то держащий в руке ключи.

«Это его машина», – догадался Саша.

Веня остановился на мгновение:

– Слышь, земель! – позвал он молодого, нервно кривящего лицо человека.

Тот обернулся.

– Выключи сирену, раздражает! – попросил, улыбаясь, Веня, показывая при этом рукой, как надо выключить сигнализацию, нажав кнопку на брелке.

Они влетели во двор и помчали, перескакивая через скамейки, обегая беседки и горки детской площадки. Почти на лету Саша зачем-то тронул ржавый скелет качелей и несколько секунд еще слышал за спиной аритмичное поскрипывание.

Вслед за ребятами, тяжело топая, бежали трое милиционеров, грозно требуя остановиться. Первый из них, как увидел обернувшийся на крик Саша, едва поспевал вслед за овчаркой, которую с трудом удерживал на поводке.

«Спустят собаку или нет?» – подумал Саша отстраненно, словно все это его не касалось. Решил больше не оглядываться.

Ребята выбежали из дворика на трамвайную остановку, людей почти не было, а так хотелось затеряться в толпе.

От остановки отъезжал трамвай. Они рванули за ним и метров через тридцать нагнали его железную тушу.

Веня несся первым и радостно размахивал руками, выкрикивая что-то несусветное и делая неистовые знаки вагоновожатой, чье недовольное лицо мелькало в зеркале заднего вида.

Трамвай остановился, открылась средняя дверь вагона. Ребята заскочили в трамвай, Леша Рогов сразу подбежал к кабинке вагоновожатой. Саша заметил, как он, что-то говоря, сунул ей купюру, извинился и закрыл дверь. Вагон тронулся.

Из дворика выбежали милиционеры, по их движениям было видно, что они сразу догадались, куда делись беглецы.

Веня показывал им, раздраженно перетаптывающимся, средние пальцы на обеих руках, когда трамвай резко встал.

Передняя дверь открылась, и вошли несколько, пять или шесть, спецназовцев.

Веня нажал кнопку экстренного выхода, дверь медленно и с недовольным шипом поползла, но эти амбалы уже были рядом и первым делом ударили Веню головой о поручень.

Саша сразу закрыл башку руками. Подгоняя крепкими пинками, Сашу выволокли на улицу.

На улице его, крепкой дланью схватив за шиворот, ударили башкой о трамвай. Слабо пыхнуло красным в глазах. Терпимо...

Ребят поставили на «растяжку» – заставив сложить руки за головой, лбом упереться в железную обивку трамвая, а ноги расставить неестественно широко. Чтобы получилось очень широко, по ногам тоже несколько раз ударили.

Спецназовцам, конечно, хотелось большего. Они так красиво взяли убежавших – тяжелый азарт кипел в каждом из них, требуя немедленно порвать пойманных на части. Но несколько любопытных пассажирских лиц, примкнувших к стеклу трамвая, мешали ловцам. Они нервно топтались, сжимая дубинки и кривя лица.

Чуть повернув голову, Саша увидел, что Веня и Рогов, так же как и он, раскоряченные, стоят поодаль.

Заработал мотор, и ПАЗик, перекрывший рельсы, сдал назад.

– Ну, чего, грузить их? – раздался голос. – Надо им, блядь, устроить революцию.

– Что, сучонок? Революции захотел? – выкрикнули где-то рядом с Сашей, но не ему, а, похоже, Вене. – Красной революционной кровью ссать будешь через полчаса!

Раздался удар, еще один. Не стерпел кто-то, перехлестнуло...

Саша повернул голову в сторону Вени и сразу получил тяжелый удар в затылок, словно кто-то стоял за спиной и только ждал повода, чтобы ударить.

– Тебе сказали, руки за голову и не шевелиться?

Тут еще собака подросла, а с ней милиционеры, приближение которых можно было угадать по нарастанию беспрестанного косноязычного мата.

Собаку, судя по лаю и толкотне, еле сдерживали. Весь сжимаясь, Саша ожидал, что сейчас ему выкусят кусок ляжки.

– Нет, ну что твари... делают!.. – ругался один из милиционеров, отдуваясь и тяжело дыша. – Всю улицу разхерачили... магазины... машины... Это же твари... Их, тварей, надо застрелить прямо здесь!.. Ты что, гаденыш, делаешь? – обратился он к Вене, упирающемуся головой в трамвай. – А? Тебя, сопляк, спрашиваю! Ты что делаешь?

– Держу трамвай, – ответил Веня ясным и оттого невыносимо наглым голосом.

Саша улыбнулся красной боковине трамвая, приятно охлаждающей потный лоб.

– Ах ты... – услышал Саша голос милиционера и, поняв, что сейчас Веню ударят, снова покосился. Длинная, как шланг, дубинка гулко обрушилась на спину товарища.

– А? – выкрикивал милиционер, по-прежнему тяжело дыша. – Еще? А? Нет, ты отвечай! Еще?

– Позабавься! – ответил Веня громко, и это звучало не как «да, еще», но как – «давай-давай, потом время придет, посмотрим...».

Здесь вступил уже кто-то из камуфляжных бесов:

– Ты как с дядей милиционером разговариваешь?

Он ударил – будто взмахнул косой – своей огромной, в берце, тяжелой ножищей Вене под колено, и тот резко, гакнув от неожиданности, упал. Ему тут же с силой наступили берцем на лицо.

– Эй, кончайте уже! – неожиданно для себя крикнул Саша.

Видимо, ему досталось бы тоже, но отвлекла вагоновожатая:

– Товарищи! Отведите молодых людей от трамвая. В вагоне дети. Нам надо ехать!

– Семеныч, грузить их или нет? – опять спросил кто-то.

– Нет. Вон «пэпсы» отведут их на площадь. Мы еще покатаемся по дворам.

Спецназовцы загрузились, и ПАЗик, резко взяв с места, уехал.

Веню подняли за шиворот. Сашу и Лешу попросили сделать шаг назад. «Еще шаг назад».

Трамвай заскрипел и тронулся.

Саша, щурясь от легкого головокружения, смотрел на небо.

Вене и Лешке защелкнули за спиной наручники.

– Руки назад! – приказали Саше.

Холодное сжало кисти.

Они пошли по улице вниз, подгоняемые тычками и матом милиционеров. Иногда злобно подлаивала овчарка.

Веня беспрестанно поднимал голову и с влажным сипом вдыхал через нос, пытаясь остановить текущую из расквашенных ноздрей кровь.

Саша с интересом разглядывал содеянное им и его товарищами.

Улицу разворошили, словно кулек с подарками.

Несколько сорванных и истоптанных трехцветных флагов лежало на асфальте.

Дорога была густо усыпана стеклом, иногда цветами, а также всякой вывороченной из мусорных урн дрянью – и создавалось ощущение, будто на улицу выпал дождь из стеклянной крупы, мусора и цветочных лепестков.

Кое-где валялись стулья, встретила цепь оградки.

Все фонари были разбиты.

«Яну поймали», – вдруг угадал Саша, увидев на асфальте оторванный, распутивший нитки, отороченный мехом капюшон. «Капюшон Яны. Ее поймали за капюшон».

Иногда навстречу шли люди, с интересом, но большинство со злобой разглядывавшие задержанных.

«В плен взяли... – подумал Саша иронично. – Меня взяли в плен... И могут посадить», – завершил он свою мысль уже всерьез.

Сгоревшую машину было видно издалека. Около уже сустились пожарные. Из шлангов била вода. От машины валил тягучий дым.

– Нет, ну на хер вы это сделали? – все не унимался один из милиционеров, самый грузный и говорящий с одышкой. – На хер? Вы это строили, чтобы ломать?

Никто не спешил ему ответить.

Леша спокойно смотрел вперед, и на лице его читалось, что он вовсе не считает нужным разговаривать.

Саша мог бы ответить, но саднела разбитая губа, и он непрестанно слизывал кровь.

А Вене, похоже, даже его разбитый нос был нипочем, и он, хлюпая, спросил:

– Чего строили?

– Вот это все – вы строили?

– А кто это строил? – переспросил Веня, словно это его всерьез взволновало.

Здесь прямо в лицо Вене наехала камера, и милиционер матерно прогнал тележурналистов.

– Слышь, расстегни меня, кровь хоть вытру, – воспользовался ситуацией Веня. – А то вас вздрючат за избиение подростка. У меня нос сломался. Я на вас заяву напишу.

– Да мне плевать на твою заяву, понял? – сразу взвился милиционер. – Пиши, мне все равно. Я тебе еще жопу напорю в отделе.

Веня громко хмыкнул, харкнул красным и примолк.

Пацанву «Союза созидателей» выводили из подворотен – когда по три-четыре человека, а когда сразу по десятку.

Почти все пойманные были биты, несли красные, кровавые синяки, быстро заплывающие глаза, расплюснутые носы и разбитые губы.

Пацаненок лет четырнадцати, весь бледный, с дрожащими скулами, на подгибающихся ногах ужаснул густым, грязно-кровавым сгустком на затылке. Его поддерживали за плечи.

На многих была разорвана одежда. Виднелись юношеские, худые тела.

Саша знал их всех – если не по имени, то в лицо.

Кто-то пытался перешучиваться, но милиционеры истошно орали, требуя закрыть рты.

Вскоре «пленных» собралась целая толпа, человек в шестьдесят-семьдесят.

Большинство были без наручников.

– Давай-ка со своих тоже снимем «браслеты», – сказал напарникам милиционер с одышкой. Он был старшим в наряде.

– Зачем? – спросил один из напарников.

– Надо.

Напарник недоуменно пожал плечами, и старшему пришлось пояснить:

– Их били «космонавты», а сдавать в отдел нам. Вон у этого, может, нос сломан – потом отписываться за него. На хер не нужно. Понял? Доведем до площади и – до свидания.

Сашу, Лешку и Веню выдернули из создавшейся толпы, чтобы снять с них наручники. Долго возились, не попадая ключами, тихо матерились при этом.

Саша облизывал губу. Веня никак не мог успокоить кровь, она насохла у него на бороде черной коркой. Лешка внимательно оглядывался и заметно мешал снимать с него наручники, перетаптываясь и отдергивая руки.

– Бля, стой спокойно! – заорали на него.

Лешка застыл.

– Вперед! Бегом! – скомандовали им.

Ребята потопали легкой трусцой к своим, идущим впереди, метрах в тридцати-сорока. Задержанных плотно окружали люди в армяках и фуражках.

– Надо валить, – сказал Лешка негромко, едва они отделились от «пэпсов», убирающих наручники в кармашки на поясах.

– Попробуем, – ответил Веня.

– Погнали, – сказал Саня, и они, словно так и надо, словно по делу, легкие и свободные, нырнули в ближайший проулок, на полпути к плененным, согнанным в строй.

Набирая ход, Саша испытал такое чувство, словно его высоко-высоко подняли на качелях, и – отпустили.

Мелькнула близко трава (едва не упал, толкнулся по-обезьяньи руками, ободрав ладони о щебень, что за щебень, откуда?), окно, другое окно (дом раскачивался), коляска, женщина, ее везущая (шарахнувшись от сохло-кровавой рожи Вени), заворачивающая за угол, уезжающая из двора патрульная машина милиции («... Не заметили? Могли бы прямо на них... выскочить...»), скамейка (почему-то поперек дороги), забор («Не возьму – высокий...»).

Казалось, что сейчас, вот сейчас движущая сила качелей достигнет своей высоты, и его кто-то схватит за шею и неудержимо потянет назад.

... Саша спрыгнул с забора и упал, перекувырнувшись...

«Действительно, очень высоко, как же я влез...»

Рядом грохнулся, почему-то на четвереньки, Веня, с черной, растрескавшейся, кровавой бородой.

И лишь Рогов встал на ноги, присев и тут же выпрямившись.

Рогов схватил Веню за шиворот, тот толкнулся ногами, и встал, и побежал.

Сипя и задыхаясь, истекая длинной, тягучей, горько-сладкой слюной, они неслись по дворам, пока не обессилели и не спрятались, совершенно ошалевшие, в подъезде какого-то дома.

Стояли на четвереньках, с мутными глазами, с раскрытыми ртами, безуспешно пытались вдохнуть. Изо рта свисало. Кто-то входил в подъезд, но было не стыдно...

– Сынок, ты... был в Москве? – голос мамы в телефонной трубке звучал обреченно и скорбно.

Саша был готов разодрать свое лицо, слыша этот голос.

– Был, – ответил он глухо, высоко поднимая разбитую губу, оттого слово «был» прозвучало как «ыл».

– ...вы все в розыске, – сказала мама, и в ее голосе была еле слышна надежда, что Саша ее разубедит, скажет, что все это неправда, и он ничего не делал плохого.

– Это... ерунда... – ответил он.

## Глава вторая

Саша расстался с Веней и Лешкой возле метро – решили, что по одному они вызывают меньше подозрений.

Он добрался из Москвы до своего провинциального – пятьсот верст от столицы – города на электричках, или, как это называли его сотоварищи, «на перекладных собаках». Сидел одиноко в углу вагона, внутри иногда подрагивало от произошедшего недавно, вновь возникал этот ритм – когда все рушится и звенит. Саша прислушивался к этому ритму и понимал, что подрагивает хорошо.

Город оказался слабым, игрушечным – и ломать его было так же бессмысленно, как ломать игрушку: внутри ничего – только пластмассовая пустота. Но оттого и возникало детское ощущение торжества, терпкое чувство преодоления, что всё оказалось гораздо проще, чем ожидалось...

Набегали контролеры, Саша уходил в тамбур, разглядывал из-за мутного стекла их синие одежды, строгие лица. Затем, дождавшись остановки, обегал по перрону вагон с контролем и вновь усаживался в угол.

Иногда посасывал разбитую губу, но она уже не саднела больно – заживало как на кошке. Казалось, электричка шла бесшумно – Саша ничего не слышал.

За окном текло сирое и безрадостное. В стекле отражался он – короткие волосы с упрямым чубом, небритые скулы, темная кожа, лоб в ранних морщинках... Обычное лицо.

Саша приехал в свой город, двери электрички захлопнулись за ним, словно он был аппендикс и его отрезали.

Отгнав глупые мысли, что его ждет засада уже в подъезде («...так они и поставили по всей стране засады...»), забежал домой.

Замок издал привычные мягкие, позвякивающие звуки. Дверь открылась.

Мать работала в ночную смену, квартира была пуста.

Саша позвонил знакомому мужику. Спросил, нет ли возможности подкинуть его до деревни. Мужик ответил хмуро: «Я сегодня поеду».

Оставил матери записку: «Мам, все хорошо».

Он добирался до деревни в привычной тряске. «Копейка» гроыхала, на лобовухе вместо техталона висел календарик с жирными цифрами текущего года; календарик должен был ввести в заблуждение стражей дорог. По дороге к деревне встретился всего один пост, милиционер посмотрел на «копейку» брезгливо и отвернулся.

Мужик всю дорогу молчал, иногда прислушиваясь к машине, издававшей самые разнообразные лязгающие звуки. Чередование этих звуков представлялось Саше произвольным. Мужик же, казалось, различал все составляющие этой какофонии.

Проезжая пост, водитель едва напрягся, его глаза потяжелели, он тверже взялся за руль и вперился в дорогу, даже взглядом боясь зацепить милиционера, словно тот был нечистой силой. Спустя мгновение водитель уже был спокоен. И Саша, наверное, тоже.

Асфальтовая дорога вскоре за постом переходила в проселочную. Проселочная, миновав сады, две тихие, даже без собак, деревни, заплеталась в сосновый лес. В лесу было темно. Выложенная на месте бывшей узкоколейки, дорога терзала и больно была, подставляя машине частые крепкие ребра.

«Копейка» бесновато светила одной фарой, вторая едва ли освещала самую себя. В свете кривились и дергались сучья. Откуда-то из детства выполз страх перед темнотой, деревьями, Саша закурил, и все прошло.

Он вспомнил, как однажды они косили с отцом, – Саше было лет девять. Вообще косил отец, а Саша лишь пробовал, примерялся, пока отец перекуривал. И потом сгребал скошенную отцом траву в рядки. Сумрак загустел, за ними должны были заехать на грузовике, но никак не ехали. Отец развел костер. Саша собирал ветки, пугаясь удалиться от огня. Отец же уходил с полянки в лес, Саша со страхом слушал хруст ломаемых сучьев, но вот уже отец появлялся, добыча его была огромна. Костер вздрагивал, сучье трещало.

Сейчас будет эта полянка... Вот она.

Грузовик все же приехал. Отец сказал водителю: «Я здесь переночую». Когда отъезжали, Саша выглянул в окно грузовика. Отец стоял поодаль от костра. Его лица Саша не разглядел.

«Что? Что было бы, если б разглядел?.. Что ты увидел бы?»

Голос был ироничен, даже раздражен. Саша не любил этот голос и не ответил ему. Он на мгновение зажмурился и попытался отвлечься.

Грязная лобовуха. Календарик. Застывший полувзмах дворников. Нутро бардачка с отломанной дверцей, Саша дважды укладывал туда выпадающие спички, потом бросил коробки возле рычага переключения скоростей. Щетина водителя.

У водителя в деревне тихо догнивал дом.

У Саши в деревне жили бабушка и дедушка, родители отца. Он не видел их год. Ни в осень, ни зимой, ни весной – если только в теплом и сухом мае – в деревню было почти не проехать. Разве что на тракторе. Редко кто отваживался отправиться в дорогу на ином транспорте.

Курить больше не хотелось, сигарета не убавляла – по обыкновению – дороги, но тошно, безвкусно тянулась вместе с дорогой, и пепел – когда машина билась о ребра узкоколейки – падал на брюки, и водитель косился на то, как Саша сбивал с себя светящиеся точки.

«Мудак!» – выругался Саша, жалея прожженные брюки, и выкинул недокурную сигарету в окно.

Саша съехал по сиденью, расположившись почти полулежа, расставив в качестве скреп ноги, и попытался хоть ненадолго сохранить расслабленное состояние уставшего от дороги тела. Новая кочка завалила Сашу на водителя. Саша хотел было извиниться, но передумал и уселся высоко, твердо уставившись вперед.

...В голове копошилось что-то едва различимое и вполне равнодушное к Саше. В иные мгновения он сам удивленно отмечал это копошение, казалось бы, своих мыслей – вялый сумбур почти неподвластных ему замечаний, ассоциаций чего-то смутно отмеченного с чем-то уже забытым.

Одиночество, казалось Саше, недостижимо именно потому, что нельзя остаться воистину наедине с самим собой – вне этих отражений, которые оставили в тебе прошедшие мимо, без обильного репья обид, и ошибок, и огорчений. Какое может быть одиночество, когда у человека есть память – она всегда рядом, строга и спокойна.

«Что за одиночество, если все прожитое – в тебе и с тобой, словно ты мороженщик, который все распродал, но ходит со своим лотком и, ложась спать, кладет его рядом, холодный...» – подумал Саша, и сам иронично хмыкнул над собой. «Бред. Какой бред», – сказал голос. Саша опять не ответил, но на этот раз согласился.

Деревня лежала в полутьме, во многих домах не горели огни.

Саша почти не чувствовал оживления от того, что он вернулся в места, где вырос.

Ему давно уже казалось, что, возвращаясь в деревню, сложно проникнуться какой-либо радостью – настолько уныло и тошно было представавшее взгляду.

Несколько сельчан, медленно идущих по обочине навстречу «копейке», остановились, вглядываясь в машину: кто это там, к кому? Саша даже не попытался рассмотреть остановившихся, чтобы никого не узнать. Все было чуждым.

Водитель подъехал к своему дому.

– Дойдешь? – то ли спросил, то ли просто, безо всякого вопросительного знака, заявил он.

– Дойду, – сказал Саша, постаравшись, чтобы это не прозвучало как несколько униженный ответ, – получилось плохо, – и вылез из машины.

Деньги за дорогу Саша отдал еще в городе.

Он размял тело и по закатившейся улочке отправился к родительскому дому.

Дорога была изуродована и грязна. Из иных домов мелкий мусор, объедки, помои выбрасывали и выплескивали прямо в канавы у дома – куры склевывали, что могли склевать, остальное тихо подгнивало. Саша сторонился канав – угадывая их по запаху и по неприятной мягкости влажной, подгнившей вокруг земли.

Путь к дому, располагавшемуся на соседней улице, он решил скоротить, пройдя огородом. К тому же, чтобы не было так тошно, лучше было подойти к дому неприметно, задним двором, постепенно погружаясь в неприглядность и запустение.

Он свернул на стезю, ноги расплзались по грязи. Саша взмахивал руками и тихо матерился...

Напрасно Саша берегся грязи – пойдя по огороду, он все равно увяз, измазался и последние метры до калитки брел, обреченно ступая в черную гущу.

«Не забыл ли ты, как вскрыть засов?» – попытался Саша взбодрить, расшевелить себя. Он с трудом просунул руку в прощелок калитки – в детстве легче получалось, тоненькой лапкой-то. Сдвинул щеколду.

– Не забыл! – шепотом произнес Саша, натужно изобразив самому себе свою радость: последний раз качнул, будто качели, свой ничемный настрой, но не было ни ликования, ничего.

– Не забыл, – еще раз повторил он вслух, и эта фраза уже ни к чему не относилась, просто надо было что-то произнести, закрывая калитку и двигаясь по двору, среди двух заброшенных немощным дедом сараек и риги. Дальше располагалось стойло, где бабушка уже год как не держала козу, три года как там не было свиней, и десять лет как оттуда увели в последнюю дорожку корову Доманьку. Из стойла не доносилось запахов жизни, навоза, ни одна мохнатая душа не переступала там копытцами, никто не жевал, шумно дыша и пугаясь Сашиних шагов. Пахло только сыростью и грязью.

Саша тоскливо взглянул на дом – маленькие окошки были темны. Опасливо ступая, он прошел мимо разошедшегося забора – высившегося справа, и красно-кирпичной боковины дома – мрачневшей слева, и зачем-то остановился на углу дома – за углом располагалась входная дверь в дом. У входа стояла лавочка, Саша помнил ее и уже знал, что бабушка сидит на лавочке, сложив мягкие усталые руки на коленях.

На дороге возле дома стоял ребенок с хворостиной. Что-то приговаривая, он хлестал хворостиной по луже и шипел, отскакивая от брызг.

Саша сделал еще полшага.

Да, бабушка сидела на лавочке – бесстрастно и недвижимо. Казалось, она не видит ничего. И поведение ребенка, его игра, его голос давали понять, что и он не видит, не помнит о сидящей на лавочке бабушке. Бабушка и ребенок словно находились в разных измерениях.

Улица была пустынна, темна и грязна, как и все остальные улицы деревни. За огородами, поросшими корявыми сорняками, виднелся соседний порядок, еле помеченный редкими желтыми оконцами. Солнце заходило, почти зашло.

Ребенок взмахивал хворостиной и топтался на месте.

Бабушка смотрела, не моргая, поверх ребенка, поверх огородов, поверх деревьев.

Деревня исчезала и отмирала – это чувствовалось во всем. Она отчалила изрытой, черствой, темной льдиной и тихо плыла. Заброшенные, вросшие в землю сараи, стоявшие вдоль дороги, чернели отсыревшими боками, прогнившими досками. На крышах сараев росла трава и даже кривились хилые деревца, прижившиеся, но не нашедшие, куда пустить корни – под

их слабыми корешками располагались холодные, опустевшие помещения, куда, к разбитым крынкам и продырявленным бочкам, заползали ужи, которых никто уже не тревожил. Кусты разрослись и ползли на дорогу.

Среди всего этого медленного и почти завершившегося распада ребенок смотрелся странно, стыдно, неуместно.

– Санька... – выдохнула бабушка, когда Саша, сжав зубы, чтобы не развернуться и не убежать огородом, шагнул вперед, и скинул сумку на землю, и протянул руки к бабушке.

– Как же ты приехал, а? – спросила она. – На машине, поди? Один?

Саша отвечал утвердительно, что – один, что – на машине, и вглядывался в темное круглое лицо бабушки, в ее слезящиеся глаза.

– Анадись думала, как же Санька не приедет, – сказала она, и Саша почувствовал мало-сильную укоризну в ее голосе. – Писем не пишет. Дед помрет, а Санька не узнает...

«Помрет» бабушка произносила через «е», и оттого слово звучало куда беззащитнее и обреченнее. В нем не было резкости и было увядание.

Ребенок недоуменно поднял глаза на Сашу, который обнял и поцеловал бабушку, прижав ее мягкие плечи. Быть может, для ребенка это было так же удивительно, как если бы Саша обнял дерево или угол сарая.

Саша поднял свою сумку и стоял в нерешительности. Бабушка открыла дверь в дом.

– Дед плохой совсем стал, до сентября не то доживет, не то нет... Не встает, исть не хочет, только водички попьет, – тихо говорила бабушка, заходя в сенцы.

Саша не решился войти в избу, где лежал дедушка, и прошел за бабушкой на кухню: она сразу, по хорошей деревенской привычке, начала готовить – без расспросов, которым свой черед.

На кухне горела слабая лампочка. Все было засижено мухами. Когда бабушка вошла, несколько мух беззвучно взлетели. Немного покружившись, мухи вновь спокойно сели – они были сытые и скучные.

Бабушка тихо говорила о сыновьях – у нее было три сына: Сашин отец и два Сашиних дядьки, один из которых был Сашиним крестным. Все сыновья умерли.

Первым умер самый младший, Сережа – разбился на мотоцикле, пьяный был.

Два года назад, летом, в пьяной драке погиб Сашин крестный, Николай, он был средним сыном. Его положили рядом с младшим братом.

А полтора года назад в том городе, откуда приехал Саша, умер Сашин отец, Василий. Он был самым образованным в семье, преподавал в институте, но тоже пил, причем под конец пил зло и беспробудно.

Саша привез отца – в гробу – зимой... дорога была кошмарна... вспоминать о той дороге было невыносимо.

– Я двор приберу и приду к деду, – рассказывала бабушка. – «Дед, не то правда, Вася помер?» – спрошу. Думаю, во сне приснилось. «А то, нишь, неправда!» – говорит... Как же он помер, Санька...

Саша сидел за столом, покрытым старой клеенкой, и перекатывал в пальцах сигарету.

Бабушка тихо говорила:

– Сяду у окна и сижу, сижу. Думаю, кто бы мне сказал: иди тысячу ден, босиком, в любую зиму, чтобы сыночков увидеть своих, и я бы пошла. Ништо не говорить, не трогать, просто увидеть, как дышат.

Бабушка говорила спокойно, и за словами ее стоял черный ужас, то самое, почти невыносимое одиночество, о котором совсем недавно думал Саша, одиночество, открывшееся иной своей стороной – огромное, но лишенное эха, – оно не отзывалось никак, ни на какие голоса.

– Как же, Васька так много книг прочел, нешто ни в одной книге не написано, что водку нельзя пить? – спрашивала бабушка у Саши, не ожидая ответа. – Он же несчетно перечитал книг-то, и не сказано там, что умирают от водки?

Саша молчал.

– И что теперь – легли все и лежат. Никуда больше не встанут, водки не выпьют, никуда не поедут, слово никому не скажут. Напились. Мы с дедом думали – ляжем рядом с младшим сыночком, а Колька и Васька в наши могилки улеглись. Нам и лечь теперь негде.

Бабушка готовила сразу на двух сковородах: на одной разогревала, переворачивая, картошку и мясо, на другой шипели и потрескивали любимые Сашины каравайчики – тонкие, почти прозрачные, блинцы со сладким, хрустящим, темным изразцом по окоему. Бабушка готовила не суетясь, ладно и ловко, не думая о том, что и как готовит, и, наверное, могла бы закрыть глаза и даже разумом отстраниться от того, что делает.

– Нонешней зимой последних уточек порезали, – рассказывала бабушка, вороша на сковороде картошку и мясо, – сил уже нет к речке ходить. С горки спущусь, а обратно еле иду – утки ждут меня, зовут.

Бабушкина речь неприметно переходила с одного на второе, но речь шла об одном – о том, что все умерли и больше ничего нет.

– Дед оглох совсем, не слышит ничего... Вставал последний раз в июне. Пошел в туалет и упал во дворе. «Зачем встал-то? – говорю. – Я же тебе ведро поставила!» Насилу подняла деда-то.

Бабушка сделала под сковородой с картошкой и мясом малый огонь, выложила последний каравайчик с другой сковородки и ушла в избу.

Саша встал, потоптался на кухне и отправился покурить на улицу. Выходя, услышал, как бабушка громко говорит деду:

– Санька приехал! Санька!

– Санька? Что ж он не зайдет? Я слышу, ты там гутаришь с кем-то...

Совсем стемнело. Деревня была безмолвна.

Ребенок ушел. Возле лужи лежала его хворостина.

Сигарета дымилась. Пепел не падал.

Мимо протопал пьяный, захиревший мужик, не обратив на Сашу внимания.

– Что ж ты не идешь ко мне, Санька? – спросил дед, когда Саша вошел в избу и сел у постели.

В его голосе еле слышно подрагивала стариковская ирония – боишься, мол, меня – предсмертного своего деда. И вместе с иронией слышна была жалость – ну ничего, парень, я долго не задержу.

Дед исхудал, торчали острые плечи, выпирал серый кадык, слипались слабые глаза. Дед готовился умирать. Когда он говорил, в горле еле слышно клокотало, и слова выходили едва внятными.

– Помирать не страшно, Санька... Жизнь очень долгая. Надоела уже. Лежу вот, никак не могу помереть. Эх, Санька-Санька...

Саша молчал, глядя на деда.

– Дай поить-то ему с дороги! – сказала вошедшая бабушка. – Наговоришься еще! Не помрешь, пока поест-то!

– А я разве не даю, – ответил дед. – Иди, Санька, поешь...

Саша послушно пошел на кухню. Дед что-то шептал, разговаривал с кем-то, закрыв глаза.

Бабушка расспросила Сашу о матери, о том, не собирается ли мать замуж, о том, не пьет ли он сам и где теперь работает. Мать не собиралась замуж, Саша не пил в том смысле, в котором спрашивала об этом бабушка, про работу он что-то соврал. Он работал, но лень было объяснять кем. Для стариков работа – это землю пахать или завод, или больница, или школа...

И они правы. Но сегодня такой труд стал – в большинстве случаев – уделом людей не очень удачливых, загнанных жизнью.

Бабушка, как это называлось в деревне, «поднесла», и Саня с удовольствием выпил самогона под мяско и картошку, чтоб хоть как-то развеяться. Выпил раз, и два, и три.

В соседней комнате умирал дедушка. Саша с аппетитом ел. Он проголодался. Каравайчики были всё так же, как в детстве, вкусны.

Бабушка рассказывала о том, что произошло в деревне.

В крайнем по улице доме жил мужик, по прозвищу Хомут. Саша хорошо знал его. Хомут однажды спас Сашку. И отец знал Хомута, они дружили – какой-то безмолвной, тихой дружбой.

Хомут был здоровый, ясноглазый, сильный, как конь. Прошлым летом он удавился. К нему приехали из города сыновья, помочь с огородом. Работая на огороде, Хомут с сыновьями разругался. Он давно с ними плохо ладил. Разругался и сказал: «Сейчас я вам покажу!» Ушел в дом. Сыновья махнули рукой и продолжили работу. Когда пришли, обнаружили отца в сарайке – повесился на перекладине, подогнув ноги.

Нет теперь Хомута.

Через двор от родного Сашиного дома вместе со своей матерью жил мужик, по прозвищу Комиссар. Комиссаром его прозвали за то, что он последние лет пять ни черта не делал, только наблюдал за селянами, с самого утра стоя у загородки, на нее оперевшись. Он развелся с женой, питался на пенсию своей матери. Саше всегда чудилось в нем что-то нездоровое. Без женщины, сорокалетний бугай, чем он занят целыми днями? Дочь одна растет в городе, совсем еще малыш... Удаться же можно от такой жизни. Но он не удавился. Сначала померла его тихая матушка, а вскоре и сам он умер, что-то с сердцем.

Два сына ближней соседки погибли еще тогда, когда разбился младший Сашкин дядька, – и соседкины пацаны тоже разбились, и тоже на мотоциклах. Как было: к последним годам прежней власти крестьянство нарастило, наконец, мяско, подкопило денег. Первое, что делает деревенский житель, всю жизнь вкалывавший до бесчисленного пота, – дитя свое балует, какого бы возраста оно ни было. Именно в те годы вся деревенская пацанва возжелала пересест с велосипедов на мотоциклы. В деревне не то что гаишников не было – там участкового-то никто не видел по полгода, так что ездили все пьяные. И сразу же начали биться. Разбивались жутко, вдрызг, летели перед смертью, выброшенные ударом из седла, по пятьдесят, а то и по семьдесят метров, сносили свои дурные головы о деревья и заборы, ломали все кости так, что тело превращалось в розовый мягкий творог, а порой еще и девчонки молодые бились, на втором сиденье располагавшиеся. И если не гибли девки, то ломали часто себе позвоночники и лежали потом, обезножив, перебирая тот несчастный вечер в уме, каждую минуту.

Саша, еще ребенком бегавший за хлебом в деревенский магазин, часто встречал у магазина когда три, когда пять, а когда и больше женщин в черных платках – у всех у них сыновья побились. Женщины стояли и тихо разговаривали о том, как жили и как погибли их детки. И несколько слов, мельком, мимоходом услышанных из черных уст женщин, потом долго возились в Сашиной голове, не находя себе места.

Кто-то уехал из деревни в последние годы, рассказывала бабушка, кто-то тихо умер от ранней немощи, и остался на всем порядке один мужик – никто уже не помнил, за что прозванный Соловьем. Он неведомо где ежевечерне напивался, приходил домой, глупо кричал на безмолвную, давно все проклявшую и замолчавшую в безысходе жену. Детей у них не было. Вечерами в почти пустой деревне раздавались вопли Соловья.

Пьяный он мало кого узнавал, шел по деревне, ничего не замечая, и лишь тоскливый вид жены возвращал его к мутной реальности из алкогольного далека, пробуждая уже физиологическое желание кричать и ругаться, ни в одном слове, впрочем, не отдавая себе отчет.

Это он, Соловей, прошел мимо дома, когда Саша курил у загородки.

Бабушка собрала со стола, пошла стелить Саше в комнате, отделенной перегородкой от лежанки деда.

Расстилая кровать, она вспоминала, как спал на этой кровати Вася, кровинка, малое дитя, выпестованное после войны, за крестьянским трудом неприметно выросшее в худого, высокого, рано облысевшего парня, ушедшего из родного дома и вернувшегося здоровым мужиком, в котором только она и могла без труда увидеть все то же дитя. Но вот у Васи остановилась кровь в теле, и он перестал быть.

Когда у Васи впервые стало плохо с сердцем, он приснился ей. Во сне Вася лежал на кровати и говорил: «Мама, вот тут у меня болит, дышать не могу», – и на сердце показывал.

Она сразу отправилась к Васе, приехала неожиданно в город, где не была уже лет десять, и уже в городе узнала, что сон – вещий.

Саша тогда привел ее в больницу, куда спешно положили отца.

Отец лежал спокойный, потемневший лицом, прислушивался к себе. Внутри билось больное сердце. Бабушка сидела рядом и вглядывалась в лицо сына.

Отцу сделали операцию, разрежали грудь, полчаса, пока колдовали врачи, его сердце было вне тела. Он выжил. Пить ему было нельзя. Но вскоре погиб братик Коля, и Вася запил. Запил раз, потом еще раз, угодил в больницу и быстро умер, в два дня.

Саша знал, что бабушка расстилала кровать и в который раз думала, почему же, почему, когда Васе стало плохо во второй раз, он не приснился ей, не позвал ее, и никак не могла найти ответа.

Не приснился и не позвал. Позвонили зимой соседям – по единственному в деревне телефону, сказали, что Вася умер, передайте, везем хоронить. А через три недели после похорон пришло Сашино письмо, которое Саша написал за полторы недели до смерти отца. По причине плохой работы почтовой службы письмо пропустило все сроки и добрело едва ли не пешком. В письме Саша писал, что отец чувствует себя хорошо.

– Как же так в одночасье все случилось? – спросила бабушка у Саши, поднесшего себе еще раз, еще покурившего и пришедшего спать. – Ты в письме писал, что отцу хорошо. Я читаю, а он уж в могиле. Не то ему там хорошо стало. Мучился всю жизнь...

Бабушка смотрела на Сашу спокойно, не ожидая от него ответов.

«Иногда говорят, что внуков любят больше, чем детей. Неправда...» – подумал Саша.

Бабушка любила сыновей. Саша был для бабушки невнятным напоминанием о том времени, когда семья была полна и сыны жили. Но она не в силах была наделить Сашу чертами его отца, почувствовать в нем свою – отданную сыну и проросшую во внуке – кровь. Саша был отдельным человеком, почти уже отчужденным...

Очень редко бабушка взглядывала на Сашу с надеждой, что покойный сын проявится в облике внука, подаст знак, но тут же осекалась: «Не он, не он...»

Саша это понимал и принял тихую, почти не осязаемую, тоньше волоса, отчужденность бабушки спокойно. Не осознав это рассудком, втайне от самого себя он чувствовал, что так – в некоем отчуждении от бабушки – ему легче здесь находиться. Когда у каждого в сердце своя беда, касаться этим сердцам, может быть, и незачем. Разве надо идти за предел того, что и так едва выносимо.

Дедушка же и не собирался больше ничего терпеть, торопился к детям.

Он стоически перенес смерть двух сыновей и еще за год до смерти третьего был крепок. Крепче Саши – Саша помнил, как подивился здоровью деда, когда они однажды работали на дворе и дед орудовал здоровенным молотом, который Саша едва поднимал.

Но вот последний сын ушел, и дед раздумал жить.

В голове деда не возникали отсветы прошлого. Не было воспоминаний о том времени, когда он, молодой ударник, работал на комбайне, и о том, когда он, красивый офицер, командовал орудием. Ни почти трехлетний плен не вспоминался, ни послевоенное житье. Не было

ясности, доброй памяти. Были отзвуки, недоговорки, обмылки воспоминаний, ни одна мысль не находила своего завершения, все покачивалось, будто в темном вагоне с мигающим, почти бессильным светом, и где-то голоса невидимых спутников, и позвякивает посуда, и проводника нет, и что-то невнятное мелькает за окном.

Дед прислушивался, но ничего не мог разобрать.

Прошла бабушка, заметил дед. И опять он ничего не смог подумать ни о ней, ни о себе, ни о ком. Нечего было решать, и ничего не разрешилось само. Все истекло и отмелькало. Накапывало бесцветное. Редко капало оставшееся на дне.

Дедушка всегда включал радио на полную громкость – в те времена, давно. В шесть утра в избе раздавался гимн. Бабушка к этому времени уже вставала. Саша потягивался тонкими ножками с невымытыми пятками, злился на дедушку. Но сразу же засыпал – едва прекращалась мелодия. Вставал в добром расположении духа. Ел молочный суп. Иногда в супе попадалась муха, но Саша не брезговал – выловив и положив ее рядом с тарелкой, все доедал. Муха лежала со слипшимися крыльями в маленькой белой лужице. Суп был необыкновенно вкусный, сладкий, горячий. После супа – каравайчики, чай. Все было так нежно.

В шесть утра радио засипело, словно пластинка с гимном уже окончилась или никак не могла начаться, заеда. Радио тяжело дышало своим черным, пыльным легким, срываясь на хрип. Звук не прекращался.

Саша открыл глаза.

Над головой висели иконы.

Маленькое оконце слева от кровати цедило свет.

Бабушки в избе не было.

Саша прислушался, желая услышать дыхание деда, но не услышал. Встать не хотелось. Но лежать – вдвоем с дедушкой за перегородкой – не хотелось еще больше.

Ноги брезгливо коснулись пола. Плечи передернуло. Скулы сжались, сдерживая зевок. Глаза суетливо метнулись по комнате, отыскивая, на чем бы задержаться, чтоб сердце успокоилось и утро началось в добре.

В противоположном углу комнаты висел «семейный иконостас» – с фотоснимками, тысячу раз виденный. Но Саша до сих пор любил разглядывать его.

Он оделся, сразу обрядившись и в брюки, и в майку, и в свитер, и, не подпуская близко мысли «...как там дед, взгляни...», прошел, потягиваясь и стараясь ступать тихо, в дальний угол, к белевшим смутно карточкам.

Вот это большое фото часто поражало Сашу: 1933 год, деревенские девушки сидят группой, их около двадцати. Девушки холеные, можно сказать – мордастые, одна другой слаще. Но ведь – коллективизация, работали за галочки. Саша всё забывал спросить у бабушки, как так. Бабушка-то вот она, около шестнадцати лет ей или меньше – она не знала своего дня рождения и никогда его не отмечала, – но хорошая уже девка, всё при ней. И 1933 год на дворе.

А вот и дедушка, с другом, 1938 год. Лица пресветлые, глаза широко раскрыты, честные мужские полуулыбки. Командирские часы на руке деда, огромные, выставлены напоказ. Товарищ полукавказской внешности, но достойный такой кавказец, яркий, весь – вспых, точно неведомым образом отразил фотовспышку.

Хорошо им. Довольны, что фотографируются, впереди – жизнь.

Товарищ деда, Саша забыл его фамилию, героически погиб на Отечественной войне, летчик был. Его бюст стоит у магазина, с вечно появляющимися цветами у подножия.

Дедушка имел бронь: до сорок второго года его на фронт не брали – он был лучший комбайнер в области. Дедушка тогда уже на бабушке был женат, хотя детей еще не было.

Но осенью 1942-го и дедушке пришлось отправиться на фронт. Вскоре он попал в плен. И в плену пробыл всю войну. Рассказывал об этом неохотно. Любил только вспоминать, как в плену погадал ему ведун и предсказал, что жить деду до восьмидесяти лет.

– Люди умирали беспрестанно, каждый день, по несколько человек, – говорил дед. – Спали рядом, чтоб теплее, все в ряд. Все разом переворачивались с бока на бок, несколько раз за ночь. Иной раз поворачиваешься, а рядом сосед уже околел, холодный лежит... Мне нагадали, а я не поверил: никто не верил, что день еще прожить удастся, – а мне говорят: «восьмидесят лет». Но дожил. Лишка уже хватил.

Когда умер Сашин отец, деду было восемьдесят четыре.

Дед на поминках еще раз рассказал эту историю и добавил:

– Надо было в восемьдесят помирать. Сыны живы были. Счастливым бы помер. А сейчас, Санька, и не пойму, к чему жил – ничего нет, никого не нажил, как не жил.

Бабушка говорила: в плену дед выжил оттого, что не курил. Немцы выдавали пленным табак и хлеб. Дед менял свой табак на хлеб у других пленных. За так не отдавал.

Саша думал иногда: винить ему деда за это или не винить? Не было бы Саши на белом свете, не получай дед лишний кусок хлеба за табак. Как винить за это? Хочешь винить, езжай в ту неволю, выживи там три года, табак отдавая за так, когда другие меняют, вернешься живой – и тогда вини.

Когда дед вернулся из плена, он весил сорок семь килограммов – а в деде роста метр восемьдесят три.

Еще дед рассказывал: когда их освободили союзники – американцы, вышло так, что к своим он и несколько его товарищей отправились пешком. Шли по освобожденному германскому селению, нашли бочку с белым медом. Пять человек их было – и все, кроме деда, кинулись мед есть, руками, прямо из бочки. Дед предупредил своих доходяг, что не надо бы этого делать, – не послушались. Наелись, и почти сразу же начало их рвать, крутить и корежить. Так и умерли все, неподалеку от бочки с белым медом.

Порой Саша будто видел эту бочку, наполненную белым и густым. И как в мед влезают грязные, с длинными ногтями, дрожащие пальцы. И рты беззубые, поросшие грязным волосом, хватают мед. И мед гортань корябает. А дед сидит поодаль, ссутулившись и отвернувшись. Может быть, спутники деда смеялись даже, были оживлены несколько минут. Но вскоре один сел резко или упал сразу, и глаза от боли растарасились...

И пошел дед один.

Исключили его из коммунистов за то, что был в плену. Вернулся он в деревню, к жене своей. За несколько послевоенных лет наплодили они трех сынов.

Вот они, сыновья, – на другой карточке. Сашин отец – Вася – стоит между бабушкой и дедушкой, белоголовый, или, как здесь в деревне говорят, аляной – это значит, что волос светлый, как лен, выгоревший на солнце. Дедушка держит на руках среднего сына, бабушка – малого сыночка. Дедушка – сухощавый, высокий, уработавшийся, строгий. Бабушка – темнолицая, худощекая, сама на себя не похожая. Тяжело давалось детей поднимать.

А вот и сам Саша – четырнадцати лет, розовый, яснокожий, волосы набок зализаны. Когда из деревни уезжал, он тоже был, как все деревенские пацаны, аляным – а в городе потерял этот яркий, редкий окрас, стал темно-русый.

Только один он, Саша, и остался хранителем малого знания о той жизни, что прожили люди, изображенные на черно-белых снимках, был хоть каким-то свидетелем их бытия. Не станет бабушки – никто никому не объяснит, кто здесь запечатлен, что за народ – Тишины. Да никто и не спросит, кому надо. Выбросят новые хозяева иконостас в непролазные кусты через дорогу, размост лица на карточках, и всё. Как не было.

И сейчас уже Саша не знал, что за люди на многих снимках – родня какая-то, бабушкина, дедушкина, может, соседи, с которыми были дружны, может, еще кто. Но повымерла вся родня,

и друзья повымерли, на всем порядке не было уже людей, кто помнил, какими были бабушка и дедушка в послевоенные годы. Чего уж тут говорить о том, что было до войны! Ведь свадьба гуляла, и молодые целовались смущенно, и гости галдели и пили, и все улыбались, или почти все – может, кто сидел в углу тоскливо, тихо напивался, на всякой свадьбе такие есть, но все равно все счастливо было и шумно... и ни одного свидетеля той свадьбы, наверное, не осталось.

Саша вдруг вспомнил, как дед однажды обмолвился, что женат на бабушке вторым браком. От первой жены ушел на следующее утро после свадьбы. Что она натворила такого, дед не сказал. Брезгливо бросил о первой своей свадьбе несколько забытых ныне Сашей слов, и все.

То, что дед был женат дважды, поражало Сашу даже больше, чем страшные годы, проведенные дедом в плену. Какая такая жена, что она за девушка была? Что натворила? Неужели дед застал ее с кем-то? Или напилась и нагрубила деду? «А может, дегтем ворота измазали?» – подумал Саша, забыв, что в деревне ни один дом не упрятан за ворота: шаг с дороги – и сразу дверь, часто даже не закрытая. И собак никто не держал.

«Дегтем... ворота... – передразнил себя Саша. – Начитался книжек...»

Никто не знал, как всё было. А всё ведь было.

Как же так, а? Куда все подевались?

Ценно было бы знание о том, как жили дедушка и бабушка жизнь свою? Или никчемно оно и не нужно?

Саша тихо прошел к деду.

Дверные проемы в избе – низкие, и Саша невольно поклонился деду, но тот не видел – лежал, закрыв глаза. Саша сразу услышал сиплое, подрагивающее дыхание деда и несколько мгновений смотрел на его бледный лоб с тонкой, почерневшей веной.

Дед расщурил слезящиеся глаза, зрачков под веками было не разглядеть.

«Видит? Не видит? Сказать что-то?»

– Санька... – тихо сказал дед. – Встал. Поспал бы...

Саша молчал и, не мигая, смотрел на деда. Дед дышал.

Саша взял табурет и поставил возле кровати деда – быть может, сделал все это даже чуть громче, чем можно было, – само движение, производимый шум будто затирали ощущение тоскливой болезненности происходящего.

Дед еле приметно покосился на усевшегося рядом Сашу – дрогнуло веко, блеклая отметина зрачка шевельнулась, и веко вновь смежилось, пустив малую слезинку, сразу же затерявшуюся в морщине.

– Скоро поедешь-то? Побыл бы... Подожди, пока помру... Скоро помру... Похоронишь хоть. А то бабке одной... Бабы хоронить будут. Нет больше мужиков...

«Наверное, в таких случаях говорят: “Как же ты помрешь, дед, ладно тебе! Полежишь и встанешь скоро!”» – подумал Саша и промолчал.

– Сколько лет прожил, не помню, чтобы бабы кого хоронили... В городе-то есть еще мужики?

Саша слабо улыбнулся.

– Есть, – сказал громко, чтобы хоть что-то сказать.

– А у нас все перемерли. Я последний. Все при мне родились, при мне все росли, и все перемерли. Всех похоронил... И своих, и чужих.

Дед замолчал и долго лежал молча.

– Не ем ничего, а всё не могу помереть...

Еще помолчал.

– Мою ложку серебряную – помнишь? – возьми, как помру. Мне отец мой ее дал. Теперь твоя будет.

Саша помнил эту ложку – тяжелая, красивая. Бабушка говорила, что дед этой ложкой своих малых пацанов лупил по розовым лбам, если баловали за столом. Саша не верил. Такой

ложкой убить можно. Да и не в характере деда всё это. Саша подумал, что ни разу в жизни не слышал, как дед кричит, – он никогда не повышал голоса и не бранился матерно. Недовольство свое показывал жестом. Как-то приехал Саша с отцом в деревню, лет пять тому назад. Деду уже под восемьдесят было. Пришел дядя Коля, и весь вечер они пили, и еще полночи пьянствовали. Утром сели позавтракать, похмелиться. Бабушка, слышавшая, как дед тяжело дышал во сне, решила его поберечь и, разливая самогон, сыновьям налила по полной, а деду чуть выше половины. У деда ни единый мускул не дрогнул на лице – ленивым движением, горбушкой правой руки он двинул стакан, не резко, но так, чтобы уронить его; дав резкий запах, самогон разлился на столе. Затем дед встал и отодвинул стул, будто выходить собрался.

– Сиди уж, леший! Сиди! – запричитала бабушка. В мгновение протерла стол, поставила стакан, наполнила до краев и ушла, ругаясь, но негромко и незлобно, издавна ведая меру, за какую перейти в порицании мужа нельзя.

Дед сел, выпил спокойно, и никогда бабушка больше не пыталась своей волей недолить ему, и никто об этом случае вслух не вспоминал.

Саша смотрел на деда, тот будто задремал. Саша встал осторожно.

На улице стояла смурь, сизая сырость, особенно неприятная летом.

Деревня не подавала ни единого признака жизни.

Возле все той же вчерашней лужи стоял все тот же мальчик, с хворостиной в руке. Шипя, он бил по своему грязному отражению и отскакивал от лужи.

От вида ребенка, возможно, щемило бы сердце, если б не стояла там тихая пустота.

– Встал Санька, что встал-то, – сказала бабушка, шедшая со двора. – Пойдем завтракать.

Яичница с салом, помидорами и кабачками – неестественно яркая, словно рисунок ребенка, – источала аромат, подрагивала и побрызгивала, как живая и радостная.

«Интересно, а если стариков заставить рисовать – их рисунки будут такими же яркими, как у детей?» – подумалось Саше.

Самогон туманился, хлеб спокойно и сурово темнел. Хлеб всегда самый суровый на столе, знает себе цену.

Саша все быстро съел и сказал, что пойдет погуляет. Он двинулся от дома под горку к реке. Вспомнил, как дитем, идя этой же дорожкой, встречал гусей соседки и подолгу не мог пройти мимо – вытягивая шею, наперерез топал гусак, пакостная птица. Сашка отскакивал и, оборачиваясь в ужасе, бежал, высоко подкидывая колени. Затем подолгу стоял в отдалении, переступая темными ножками, как малая лошадка. Если кто шел по дороге, Сашка присаживался и делал вид, что играет в камушки, – было стыдно, что боится гуся. Человек проходил, шуганув гусей, и они отбегали, расправив крылья и гогоча, как дурные.

Вспоминая себя, свою жизнь, Саша только того мальчика и любил, темноногого, в царапках. Потом, выпростав белую шею, из этого малыша вымахала белотелая, ссутулившаяся дурнина, глупо ухмыляющаяся и несущая прочие подростковые приметы. Саша не вспоминал свою подростковую пору, всегда обходил ее стороной. Суетливый, задиристый, неприятный – хочется разве вспоминать такого?

Сейчас гусаков не было.

Мостки на речке кривились, поломанные.

«Нешто на тот берег никто не ходит?» – подумал Саша, сразу поймав себя на том, что бабушкино «нешто» пристало к языку. Но, скорей, он произнес это слово, заигрывая со своей мнимой деревенской породой, которая, если и была, то давно сошла на нет. Даже «нешто» не мог произнести спокойно, сразу поймал себя за лживый язык.

Саша пошел вдоль берега, к далекому пляжу. Иногда попадались на берегу старые, прикреплённые цепями к деревьям лодки. Саша заглядывал в каждую, в сырое или просохшее нутро.

Деревня осталась по правую руку.

Дорога кривела рытвинами, словно ее пережевали и выплюнули, и жевок засох, сохранив кривые, грубые следы зубов или настырных десен.

Река постепенно расширялась. Иногда посреди течения раздавались слабые всплески.

Над травой дурнотно кружила мошкара.

Саша шел к месту, которое называлось Тимохин угол. Отец говорил, что здесь когда-то жил отшельник Тимоха – возле реки, которая действительно резко поворачивала, образуя угол. Тимоха однажды утонул, но имя его жители подарили красивому тихому пляжу с белым, аляным песком.

Маленьким мальчиком, грея на пляже живот, Саша часто думал о судьбе Тимохи, но ввиду отсутствия даже малого знания, кто такой был этот Тимоха и отчего он жил безлюдно, размышления ни к чему не приводили. И тогда мальчик Сашка шел купаться.

Иногда – судя по времени, в обеденный перерыв – на пляж наезжали молодые мужики и красивые девки. Где-то не очень далеко находились торфяные разработки, и в свободный час работный люд, гогоча, плескался.

Именно тогда маленький Сашка впервые увидел, как крепкий парень в плавках, в которые будто положили картофельный клубень, зажимал ладную красавку, и гладил ее по бокам, и мял ей белые груди, не стесняясь мальчика. Заваленная на спину девушка недолго давала целовать себя в губы, а потом толкнула парня в грудь. Тот нехотя отстал, убрал жадные, горячие свои лапы и, резко вскочив, прыгнул с высокого берега в воду, пропав под водой чуть не на минуту – так что помятая молодка, привстав и оправив бюстгальтер, начинала волноваться, глядя на воду из-под руки, пока ее кавалер, как водяной черт, не вынырнул у другого берега.

Сашка даже не понял, что вызвало у него большую зависть – умение далеко плыть под водой или такое вот свободное обращение с особами другого пола. Впрочем, второе скорее пугало Сашку, вызывая странную смесь удивления и брезгливости.

От шума и беспрестанно звучащих матюков отец уводил Сашу дальше по реке, там у них было еще одно затаенное местечко – неведомо как попавшая на берег бетонная плита, обросшая симпатичными кустами. Один конец плиты сползал с берега в реку. Летом плиту разогревало, и Сашка с отцом подолгу лежали на ней, жарясь. Когда солнце становилось нестерпимым, Сашка и отец, спустившись по колено в воду, поливали, плеща, плиту водой, и она делалась сырой и холодной – вполне пригодной для дальнейшего расслабленного загорания и глубокого отдохновения.

Скоротав путь и за давностью перепутав тропки, Саша вышел не к Тимохиному углу, а много ниже по реке. Пришлось возвращаться.

Дорожка, когда-то натопанная рыбаками и работными людьми, вся поросла, и Саша высоко ступал, пугаясь наступить на ужа. Он с детства дико боялся любых гадов.

Повзрослев, Саша узнал, что он, почти задушенный пуповиной, едва не погиб при родах, – говорят, люди, пережившие подобный шок в первые мгновения жизни на белом свете, всю жизнь боятся змей. По крайней мере именно этим оправдывал Саша свой неприличный страх перед безобидными ужами.

Ужа он, конечно, встретил – да не одного, а целую семью, выползшую на солнышко погреться. Саша, вскрикнув, подпрыгнул и встал на землю, широко расставив ноги. Ужей уже не было. Он готов был поклясться, что гадкие твари расплзлись в мгновение, когда он висел в воздухе.

Матерясь и подрагивая мелкой дрожью, скача по кустам, Саша добежал до той самой плиты, где они отдыхали с отцом.

Верх плиты затерялся в обильных, некрасивых кустах. Нижняя ее часть сползла в воду и поросла зеленой, сопливой, подводной растительностью. Теперь полежать на плите явно бы не удалось.

Глядя на это, Саша испытал тоскливый спазм в сердце – словно не плита лежала в воде, а поверженный памятник.

Саша огляделся по сторонам, выбирая, где можно было бы присесть, потосковать спокойно. Сел на мелкую травку у бережка и закурил.

В деревне, на чистом воздухе, всегда курилось хуже – в городской душной заразе сигарета идет за милую душу, а в деревне, когда легкие получают полный разлив свежести, никотин сразу становится неуместным.

Саша хотел было еще потянуть тоску свою, чуть блаженную, замешанную на сигаретном дыме, но от дыма было дурнотно, и тоска не собиралась в сладкий комок под сердцем, а расползалась по всему телу вялостью. Пришлось затоптать ее каблуком в траву. К непрогоревшему табаку, замешанному с сухой грязью, сразу сползлось несколько муравьев.

Тимохин угол, до которого Саша дошел через несколько минут, весь зарос мать-и-мачехой. Не стало пляжа, на его месте расползлось неведь что.

Саша скинул ботинки и зашел в воду. Вода была холодной и склизкой, словно кисель. Глины было неприятно касаться – она напоминала голую стариковскую десну своей осклизлой стылостью.

Саша выбрел из воды и присел обессиленно на грязный песок. Огляделся, сплюнул и снова встал. Он начал драть с корнями мать-и-мачеху, эту дурную, упрямую, с длинными корнями поросль. Рвал их рыжие, сохлые, некрасивые листья и бросал в воду. Течение относило.

Часа через полтора на месте пляжа не осталось ни одного ростка. Лишь торчали кое-где оборванные коренья. Пляж не стал ласковым и чистым, как в детстве, нет. Напротив, он будто бы переболел какой-то заразой, оспой – и лежал неприветливый, весь в метинах и щербинах.

Саша вернулся домой, ужинать не стал. Постоял возле спящего деда, вышел к бабушке и сказал, что уедет. Сейчас же, ему надо.

Бабушка помолчала.

– У отца-то был на могилке? – спросила.

– Был, – соврал Саша.

– Как он, не встал?

Саша вытащил сигарету и стал мять ее в пальцах, не зная, что ответить.

– Я тебе лучку соберу с собой. И яичек... – сказала бабушка негромко.

## Глава третья

Дома на столе по-прежнему лежала записка.

Мама, не зная, куда он уехал и надолго ли, написала на ней же ответ: «К тебе приходили в штатском с красными корочками и участковый что же ты делаешь сынок».

Написанное было лишено знаков препинания, и оттого Саша еще острее угадывал горькие материнские интонации. Он убрал записку с глаз долой.

Держа горящую спичку над конфоркой, механическим движением поднося чайник к огню и уже оценив по весу его достаточную заполненность, Саша пытался решить, что теперь делать, и так и застыл с чайником в руке, когда раздался звонок в дверь.

Тело охватила дурная вялость, во рту откуда-то взялось сразу много кислой и холодной слюны, и вновь засадила поджившая уже губа.

Квартира располагалась на четвертом этаже, поэтому пробежать через окно было нельзя.

«А если я их просто не пушу? – мелькнуло в голове. – Нет, они знают, что я здесь... Наверное, видели, как я входил... И что, будут ломать дверь? Для этого нужно разрешение какое-то... Или участковый имеет право? Если ФСБ пришло с участковым, сейчас взломают... А что же они меня на улице не взяли?»

Саша, наконец, бережно поставил чайник на огонь и на цыпочках подошел к двери.

Постоял около, прислушиваясь. Тихо.

Предваряемый шипом, прозвенел еще один звонок, настолько громкий, что он, кажется, отозвался в посуде на кухне.

Саша сделал твердый шаг и приник к глазку.

С той стороны двери стоял Негатив, молодой, семнадцати лет парень из местного отделения «Союза создающих».

– Привет... – сказал он, едва Саша приник к глазку.

– Ты один? – глухо спросил Саша.

– Один.

Саша открыл дверь, Негатив вошел и пожал ему руку, как обычно, глядя куда-то в сторону и вверх, словно выискивая или разглядывая что-то – на этот раз, по всей видимости, лампу на потолке, на которой он брезгливо остановился взглядом.

– Надо свет выключать в прихожей, – сказал он хмуро. – А то видно, что в глазок смотришь.

Негатив был на пять лет моложе Сашки, но разница эта почти стерлась, может, оттого, что выросший в интернате Негатив был разумен и жесток в поведении, не по годам крепок, хоть и невысок.

Передний зуб его был обломан, и это придавало еще больше суровости и без того неприветливому, с низким лбом и широко расставленными глазами лицу Негатива.

Негативом его прозвали за вечное недовольство всем и вся. Нет, он был не брюзгой, но, скорей, упрямым, со своими однозначными представлениями о жизни. Недовольство его было не по-мальчишески мрачным, молчаливым, и порой могло показаться равнодушием, таковым не являясь.

Еще он не улыбался и тем более не смеялся. Почти никогда. Очень редко.

– Ты откуда знаешь, что я дома? – спросил Саша.

– Ниоткуда, просто зашел.

– Как дела у вас? – сразу отправившись на кухню, громко спросил Саша.

– Ну, вы там натворили в Москве, – не стал отвечать на заданный вопрос Негатив. – Надо было тоже съездить. Красиво. Ты видел себя по ящику?

– Себя? – Саша выключил раздраженно подрагивающий чайник, обернулся к разувшемуся и вошедшему на кухню Негативу.

– Не видел? Сначала ты там в первой колонне засветился, и кто-то из вас мента охерачивает палкой, потом все куда-то бегут, витрины крушат, на земле валяется мент, а ты прыгаешь ему на фуражку. Отличный кадр. А что на фуражку, я думаю? Прыгнул бы ему на голову? А?

Сашу передернуло. Это не очень приятно, когда несколько тысяч, быть может, сотен тысяч людей наблюдало твои... забавы...

– И что... меня там хорошо видно? – тихо спросил Саша, отчего-то немного осипнув.

– Так, не очень... Но я узнал... Курить можно?

Саша некоторое время смотрел на Негатива.

– Кури. И мне...

– Тут, короче, друзья твои приехали, – продолжил Негатив, затянувшись.

– Какие еще друзья? – Саша тоже прикурил и опять вперился в Негатива.

– Веня московский и Рогов из Сибири.

Сашу опять передернуло, правда, на этот раз полегче.

– А они-то по кой черт?

– Говорят, что в Москве сейчас все шхерятся, по нашим хатам обыски идут. Веня, он вообще бездомный, ему жить негде, а Рогов сказал, что на поезде ехать в его Сибирь стрёмно – паспорт все-таки надо показывать, когда билет покупаешь, а на электричках... сам пойми: озвереешь, пока доедешь. Поэтому они к нам, – Негатив глубоко затянулся, выпустил дым, проследил его путь глазами, – к нам приехали. А чего ты так всполошился?

– Ко мне мусора уже два раза приходили.

– Ты их не пустил?

– Нет, меня не было. Они к матери приходили.

– И ко мне, – сказал Негатив.

– И чего?

– Я им не открыл. Они постучали два часа и ушли.

– А ты в это время сидел, пришипившись.

– Не, мы с ними душевно общались через дверь. Обещали, что меня выебут и высушат.

Саша посмотрел на Негатива и в который раз оценил его крепкое, прозрачное, не показное мужество. Негатив действительно не боялся быть избитым, и даже избитым жестоко, и вовсе равнодушно относился к угрозам. Его несколько раз от души лупили дубинками за нанесение черной краской на стены здания администрации наглых надписей вроде «Губернатор, сдохни!», и за то, что он вlepил этому самому губернатору в лицо торт. Около полугода назад Негатива взяли под стражу и в течение двух дней из него конкретно выбивали показания на товарищей – за неделю до этого местное отделение «Союза...» бутылками с зажигательной смесью подожгло офис сайентологов: любых сектантов пацаны не любили. На пожар вовремя подоспело «01», но скандал получился немалый. После двухдневных пыток Негатива отпустили. Полтора месяца ему помогал есть, одеваться, завязывать шнурки младший брат, Позик, – полная противоположность Негативу – разбитной одиннадцатилетний малец, с вечной улыбкой на наглой роже, самый младший из местных «союзников»...

Ну да, они называли себя «союзники». Это поначалу бессмысленное слово обрело со временем плоть, и звучание, и значение.

Впрочем, с нелегкой руки журналистов их часто называли «эсэсовцы» – по первым двум буквам наименования партии, а порой, когда хотели унижить или указать на молодой возраст пацанов, состоящих в «Союзе созидających», – «отсосы».

Негатив никого не выдал из «союзников», и себя в том числе. Он ведь тоже бутылки кидал. Хотя не он один, конечно.

– Но дверь менты не стали ломать? – спросил Саша, глядя на отбитый в какой-то глупой драке верхний зуб Негатива.

– Не стали.

– А чего не открыл?

Негатив раздраженно посмотрел на Сашу.

– Тебя ничем не вдарили в Москве, нет? Я же тебе сказал, Веня и Рогов у меня. Сначала лежали под диваном. Потом Веню мы скрутили в ковер, в угол поставили, а Рогов в шкаф влез... Короче, веселились все два часа...

Саша быстро выпил чай.

Вроде есть хотел. Расхотелось.

– Они где? – спросил.

– В кафе напротив сидят. Одну чашку кофе на двоих пьют. Пошли?

Саша прихватил денег из заначки, кусок сыра, лучку деревенского, хлеб и банку консервов, хотел было вернуться, чтобы написать несколько слов матери, – и махнул рукой. Еще раз написать, что «все нормально»? Куда уж нормальной.

– Ага, вот они! – Саша вдруг понял, что очень рад видеть и Веню, шмыгающего еще не поджившим носом, и подтянутого Лешку. Обнял и того и другого.

Теперь надо было что-то делать, куда-то вести пацанов.

Звонить по знакомым из дома Саша не решился – телефон прослушивался, по этой причине он в свое время пропалил одну партийную акцию.

И знакомых-то у него не было таких, чтобы завалиться ночевать втроем.

«И даже одному», – вдруг подумал Саша удивленно, но безо всякой грусти.

Так сложилось в последние годы, что круг Шашиного общения ограничился партийцами. Не то чтоб на иные дружбы не хватало времени, хотя, да, не хватало, но главное – что это было уже не нужно, незачем, неинтересно.

Идти на квартиры к местным «союзникам» тоже не стоило – по ясным причинам: туда могли нагрянуть люди в штатском.

На улице начало моросить, но они, оставившие прокуренное, с навязчивой музыкой и неприветливыми ценниками кафе, шли бодро, с удовольствием и наперебой вспоминая, как все было в Москве...

Негатив с интересом слушал, иногда внимательно заглядывая в лицо тому, кто говорил.

Остановившись у ларька, Саша купил бутылку водки и три пластиковых стаканчика – Негатив не пил, потому что натурально зверел от алкоголя.

Рогов не выказал протеста покупке, Веня выказал радость.

Они зашли на детскую площадку, где Саша провел в ранней юности много часов, потребляя разной крепости алкоголь, исследуя податливых или неподатливых сверстниц.

Присели в теремке, Саша вытащил из карманов сыр, хлеб.

– А ножа-то нет, – сказал он, вертя в руке банку консервов.

Рогов молча вытащил из рюкзака перочинный ножик. Ловко вскрыл банку.

Разлили, чокнулись...

Скоро стало совсем хорошо, только ягодички мерзли на сырой лавке. Саша иногда вставал и прохаживался, Рогов подстелил рюкзак, а Вене, похоже, было все равно.

Негатив не садился – слушал. Взял себе сырную корку – их обычно выбрасывают – и жевал медленно, откусывая по малому кусочку.

– На... возьми... – Саша подал ему ломтик сыра.

Негатив взял. Подождал, пока все продолжают разговор, и незаметно положил на место.

– Сколько вообще народу повязали, кто-нибудь точно знает? – спросил Саша.

– Девяносто три человека, в новостях говорили, – ответил Негатив только после того, как Веня и Рогов пожали плечами. Негатив никогда не лез первым с ответом.

– Предъявили что-нибудь?

– Почти всем административку. По пятнадцать суток.

– Что-то они так... милостиво... – подивился Веня, выудив откуда-то слово «милостиво», совершенно не из своего словаря.

– А ты представь, какой процесс может быть на девяносто человек? Весь мир будет освещать. На фиг им это надо... – предположил Саша.

– Все равно человек пять посадят для острастки, – сказал Рогов.

В «Союзе...» давно перестали удивляться появлению новых сидельцев – у них уже влипли и оказались за решеткой более сорока человек. Список этот почти не уменьшался – когда выходили одни, садились другие. Как ни странно, почти все заключенные были «бархатными террористами» – они забрасывали яйцами и заливали майонезом известных и неприятных персон. Тем не менее за испорченные пиджаки давали по несколько месяцев, а то и по году тюрьмы.

Единственный серьезный срок был у одного веселого хохла, занимавшегося экспроприациями и получившего десятку строгого режима.

Они немного помолчали, сожалея о пацанах, – по крайней мере Саша точно знал, что он сожалеет, и в характере Лешки Рогова тоже чувствовалась толика братолюбия и жалости. Что касается Негатива и Вени, тут, по разным причинам, все было не так просто.

Негатив скорее чувствовал раздражение, переходящее в добротную, неистеричную злобу, – и направлено это раздражение на всех поголовно, кто представлял власть в его стране, – от милиционера на перекрестке до господина президента.

Вене же было по фигу, так думал Саша. И не оттого, наверное, по фигу, что Веня никогда не жалел себя самого. А скорее потому, что Веня воспринимал тюрьму спокойно, сам был всегда готов попасть туда, хоть и не рвался нарочито. К тому же если сосчитать, сколько раз Веня получал суток по пятнадцать, – в общей сложности мог получиться неплохой срок.

Но помолчали-таки все...

Разлили, чокнулись последней.

– Мы их сделали один раз и сделаем еще! – сказал Саша, и пафоса в его словах не было вовсе, Рогов кивнул, Веня засмеялся, лица Негатива Саша не разглядел.

Легко выпили, понюхали рукава и двинулись дальше. Оставленный мусор на несколько секунд задержавшийся Рогов собрал в целлофановый пакетик и донес до урны.

Саша придумал, где провести еще часа три.

Спокойные, подобревшие, они прибрели к зданию университета. Саша велел всем убрать маргинальные ухмылки и надеть задумчивые лица завсегдаев высшего учебного заведения – то ли старшекурсников, то ли аспирантов. Так они и прошли мимо строго поджавшего губы вахтера: Рогов – натурально спокойный, потому что вообще никакого лица не надевал, а оставил свое, Негатив – отвернувшийся вбок, упрятавший подбородок в ворот куртки, а Веня как-то резко поглупевший от напряжения лицевых мускулов.

Алексея Константиновича Безлетова, преподавателя философии, Саша знал давно. Знакомство нигде толком не учившегося Сашки и доцента-гуманитария объяснялось просто: Безлетов был учеником его отца.

Саше, наверное, было лет четырнадцать, когда он впервые увидел Безлетова: молодого, худощавого, едва за двадцать.

Безлетов несколько раз заходил к ним в гости, долго разбирался с ворсистым шарфом, которым, казалось, умудрялся оборачивать горло дюжину раз. Пил чай, стеснительно склоняясь к чашке. Они что-то обсуждали с отцом – отец устало, Безлетов, передергивая иногда плечами, словно у него под рубашкой осыпалась легкая труха. Отец не обращал на это внимания.

О политике никогда не говорили, хотя смутное или, скорей, глупое и оттого еще более гадкое время тому благоприятствовало.

О том, что Безлетов был крайне либеральных взглядов, Саша узнал много позже. И до сих пор не мог решить, как все-таки относиться к тому, что отец никогда не вступал в споры о «переломах» и «судьбах», чем объяснить это – ну не равнодушием же...

Безлетов был единственным из друзей и знакомых отца, кто поехал его хоронить в деревню... но о той дороге в другой раз.

Во время похорон Саша и Безлетов перешли на «ты», но потом не виделись несколько лет, и за это время кратковременная близость затерлась.

Знакомство их продлилось, когда неожиданно выяснилось, что Сашина подруга учится философии у Алексея Константиновича. Она так и спросила, когда Саша как-то встретил ее возле аудитории после завершения занятий:

– А вы знакомы с Алексеем Константиновичем, который учит нас философии?

В это время Саша жал Безлетову руку и, оценивая плотную основательность его рукопожатия, а также преподавательскую осанку, благоразумно решил забыть, что они на «ты»:

– Да, мы знакомы... с Алексеем Константиновичем.

Несколько раз они так пересекались в коридоре университета, походя обменивались рукопожатиями, пока Саша не рассорился со своей подружкой по пустой и забытой ныне причине и снова ненадолго утерял из вида Безлетова.

Но вот не далее месяца назад случился местный митинг «Союза...», и Саша столкнулся с Безлетовым сразу после завершения привычно шумного, с элементами эпатажа действия.

– Я наблюдал, как вы там... кричите... – мягко, совсем уже по-профессорски улыбаясь, сказал Безлетов.

Саша давно отвык ощущать стеснение по поводу своих, так сказать, политических пристрастий. (На самом деле, это никогда и не было политикой, но сразу стало тем, наверное, единственным смыслом, что составил Сашину жизнь.) Однако в этот раз он испытал слабое подобие неловкости. Быть может, из-за своей осипшей глотки, только что выкрикивавшей «Президент, уйди сам!». Быть может, из-за того выражения забубенной озлобленности, которое он нес, не стирая, на лице, – вдосталь наобщавшись с хамоватой милицией, по недоразумению не повинтившей их в этот раз: обычно по завершении митинга они тащили «союзников» в участок, где в сотый раз фотографировали их и снимали «пальчики».

Короче, Саша не успел перестроиться и смотрел на Безлетова, с трудом вылепив странную улыбку на лице.

Тот неожиданно рассмеялся – очень приятным, потому что молодым и честным смехом – и сказал:

– Трудно вам будет.

Безлетов пригласил Сашу заглянуть на кафедру – поговорить («Можешь с друзьями...»). Причем зазвал так, что Саше захотелось прийти.

Были и другие причины для визита – помимо искреннего благодушия в тоне Безлетова.

Отец Саши был образованным человеком – без пяти минут профессор. Несмотря на такое родство, Саша всегда ощущал себя несусветной дворнягой. Может, оттого, что был недоучкой и нужные книги начал читать только после армии, от которой его не смогла отмазать мать, простая, в сущности, женщина.

Может, и потому еще доставало Саше уверенности, что отец никогда им не занимался и даже разговаривал с сыном редко. Так сложилось: отец и не нуждался в общении, а Саша не навязывался; впрочем, можно и наоборот – отец не навязывался, а Саша тогда не нуждался еще.

Но с недавних пор Сашино дворняжье самоощущение повлекло его к людям, которые, как казалось, лучше постигли устройство мира – посредством хотя бы освоения тех печатных источников, до которых у Саши не доходили руки.

Безлетов вскинул брови – одну, затем вторую.

«А ушами он умеет шевелить?» – рассеянно подумал Саша.

Определенно, Безлетов стал похож повадками на маститого театрального актера.

– Саша? – спросил он.

– Мы просто так зашли.

– Да, я приглашал, я помню...

Они стояли в коридоре. Безлетов пожал всем руки, быстро оглядывая пришедших и не улыбаясь. Невысокий, с прямыми темными волосами, округлевшие плечи. Раньше, помнил Саша, Безлетов все время хлопотал лицом, словно находился в неустанном поиске правильной эмоции и точного слова. Сейчас стал нарочито невозмутим, и даже щеки несколько обвисли, отчего лицо выглядело чуть брезгливым.

– Знаете, я уже закрываю кафедру, – сказал он. – Тут напротив кафе недорогое и тихое. Может быть, там посидим? За чашкой чая?

– Давайте... – согласился Саша, хотя денег у него осталось совсем немного.

– Я забегу в деканат и... буду... – пообещал Безлетов.

Пацаны снова прошли мимо строгого вахтера и спустя две минуты оказались в кафе. Оно было полупустым, и музыка действительно играла тихо. В углу мерцал телевизор. На экране мужчины в шлемах и на мотоциклах ездили по кругу, взметая грязь на поворотах и часто падая.

Принесли меню, Саша поднял первый лист покрытой кожей книжки указательным пальцем, заранее зная, что ничего заказывать не будет.

– У меня еще есть деньги... – сказал Рогов. Никто его об этом не спрашивал, но вопрос висел в воздухе. Все, конечно же, оживились.

– По пиву? – спросил Рогов.

– Я не буду... – сказал Негатив.

– Чай?

– Ничего не буду... – Негатив умел отказываться так, что больше не предлагали.

Все закурили, осматриваясь.

Безлетов вскоре пришел, строгий, в темной короткой куртке, с портфелем.

Когда он снял куртку, Саша заметил обозначившийся живот.

Безлетов молча присел, портфель поставил возле стула, тоже достал сигареты.

«У него не растет щетина, – вдруг заметил Саша. – Белое лицо. Умное и, наверное, красивое... Как он брови смухрил, а...»

Неслышно явилась официантка, Безлетов заказал кофе.

Пауза затягивалась.

Саша нарочно молчал – ему не понравилась встреча еще в университете.

«Чего он насупился? – думал он, глядя в лицо Безлетова. – Я у него денег занял?»

– Все бузите? – спросил Безлетов, прикурив и чувствуя на себе пристальный Сашин взгляд.

– А что остается? – ответил Саша риторически, сразу поняв, что речь идет о московском погроме.

Безлетов сильно затянулся, придерживая дым, и оттого чуть сдавленным голосом поблагодарил официантку за принесенное кофе.

– Вы думаете, то, что вы начали вытворять, – это хорошо? Правильно?

– Хорошо и правильно, – ответил Саша.

Безлетов пожал плечами.

– А смысл?

– Это очень длинный вопрос.

– Вопрос как раз короткий... Хорошо, вот вы просите: «Подайте нам национальную идею...»

«Вот как он заговорил...» – быстро подумал Саша и сразу оборвал Безлетова:

– Мы не просим. Я не прошу. Я русский. Этого достаточно. Мне не надо никакой идеи.

– «Я русский», – мрачно передразнил Безлетов. – А нерусских вы куда денете?

– Слушайте, Алексей Константинович, не передергивайте... Никто никуда не собирается девать нерусских, и вы прекрасно об этом знаете.

– А что же ты, Саша, немедленно начинаешь со слов «я русский»?

«Вот как, – снова подумал Саша, – он со мной на “ты”, а я с ним...»

– Я не начинаю, – ответил Саша. – Я сказал, что не нуждаюсь ни в каких национальных идеях. Понимаете? Мне не нужна ни эстетическая, ни моральная основа для того, чтобы любить свою мать или помнить отца...

– Я понимаю. Но зачем ты тогда вступил в эту... в партию вашу?

– А она тоже не нуждается в идеях. Она нуждается в своей родине.

– Ой, ну не надо всех этих слов – то «русский», то «Родина». Не надо.

– Всуе не упоминать, да? – примирительно сказал Саша. – Я согласен.

– Какой, к черту, «всуе»? – взвился Безлетов. – Вы не имеете никакого отношения к Родине. А Родина к вам. И Родины уже нет. Все, рассосалась! Тем более не стоит никого провоцировать на все эти ваши мерзости с битьем стекол, морд, и чего вы там еще бьете...

– Лучше тихо отойти, – в тон Безлетову, но с понижением на полтона ответил Саша.

– Лучше тихо отойти в сторону, чем заниматься мерзостью.

– Лучше тихо отойти в мир иной, – сказал Саша.

– Да, представь себе. Лучше. Перед Богом это – лучше. Все ваши телодвижения, ваше трепетание – все это давно потеряло смысл. Вы ничего не исправите. Но если вы начнете пускать кровь, если уже не начали, – здесь Безлетов снова еще прибавил голоса, – то...

Безлетов затянулся сигаретой и забычковал ее не без остервенения, словно задавил гадкого червяка.

Все сидели молча. Веня прокалывал зубочисткой отверстия в пачке сигарет, Негатив уставился в телевизор. Рогов смотрел в стол, покачивая под столом ногой.

– А вас что, все устраивает? – спросил Саша, совсем успокоившийся, поймавший ритм разговора и с интересом разглядывающий Безлетова.

– Ты никак не поймешь, Саша, – здесь уже нет ничего, что могло бы устраивать. Здесь пустое место. Здесь нет даже почвы. Ни патриархальной, ни той, в которой государство заинтересовано, как модно сейчас говорить, геополитически. И государства нет.

– На этой почве живет народ... – сказал Саша, желающий вовсе не спора, но понимания того, о чем говорит Безлетов.

– Твой народ, – он произнес слово «народ» раскатисто, с двумя «р» в середине, – невмещаем. Чтобы убедиться в этом, достаточно было подслушать любой разговор в общественном транспорте... Думаешь, этому народу, наполовину состоящему из пенсионеров и наполовину из алкоголиков, нужна почва?

– Живым – нужна.

– Живых на эту почву не хватит.

– Хватит.

Безлетов иронично посмотрел на Сашу, не сдвинулся с места, чтобы выпустить Веню, отправившегося, видимо, в туалет, и, едва Веня протиснулся, сказал:

– Дело, дорогой Саша, не в этом.

Тон речи Безлетова, заметил Саша, менялся непрерывно – от раздражения к нарочитому и несколько снисходительному спокойствию. Впрочем, изменения эти были достаточно артистичны и даже плавны.

– Дело в том, что – не надо. Не надо ничего делать. Потому что пока рас-се-яне тихо пьют и кладут на все с прибором, все идет своим чередом. Водка остывает, картошечка жарится. А как только рас-се-яне вспомнят о своем, завалившемся под лавку величии, о судьбах Родины, о... о чем вы там все время говорите?.. тогда вы начнете пускать друг другу кровь. И пустите кровей столько, что зальете полматерика. Это неизбежность, Саша. Я, правда, думаю, что вас самих перебьют раньше. И если цинично мерить на литры крови, то это, конечно, более правильный вариант. Более правильный и менее кровавый.

– Но этой страны скоро не станет, Алексей... – Саша отрезал отчество от инициалов Безлетова, просто расхотев произносить «Константинович».

– Я тебе говорил: ее нет уже, – быстро ответил Безлетов. – Дайте дожить людям спокойно по их углам. Вот этим русским, о которых вы так печетесь, предоставьте такую возможность: до-жить спо-кой-но. Вы им добра не принесете, поймите. Но беды натворите большой. К тому же вы зря на них надеетесь. Они такие же русские, как... как новые греки по сравнению с древними. Как воины-ассирийцы по отношению к айсорам – чистильщикам обуви.

Саша допил пиво и тоже стал смотреть в телевизор, изображение в котором так увлекло Негатива. Мотоциклисты по-прежнему ездили по кругу. Потом посмотрел на Рогова, который качал головой в такт чему-то происходящему внутри него.

– Понимаешь, Саш, – снова понизил тональность Безлетов. – Мне было симпатично то, что вы делаете. Это был такой эстетический проект, интересный на фоне воцарившейся тоски. Но вы начали переходить за грань. Вот-вот начнется необратимое. Остановитесь сейчас. Делайте то, что вы делали раньше. Это очень ярко – ваши листовки, ваши речи, ваши крики на площади, флаги. Девушки ваши с тонкими лицами... Это не совсем по-русски, не в нашей традиции, но ярко все равно. Да и вообще, – хорошо оживился течению своих мыслей Безлетов, – в наши дни русскость не является достоянием всех, рас-се-яне растеряли свою русскость. Она еще сохраняется в конкретных людях, как вполне определенное духовное начало, и, дай Бог, сохранится еще какое-то время. Быть может, несколько столетий.

– Где она сохранится? – искренне удивился Саша. – В стране, которая через тридцать лет вымрет и будет заселена китайцами и чеченцами?

– Нет, конечно. Но как-то сохранили свое еврейство в течение двух тысяч лет евреи. Русские общины живут во всем мире, никто им не мешает. Еще живая культура является главной и, увы, единственной составляющей русского духа. Дух почти нигде уже не живет более – только в отдельных носителях, которые пишут картины, или книги, или... не важно. Народ перестал быть носителем духа и, значит, не способен более ни на что. Все, что мы еще можем дать миру, – это запечатлеть жизнь своего духа.

– В момент распада этого духа... – выговорил Саша устало.

– Саша, все зависит от вас самих. Если вы затеете столь ожидаемый вами кровавый хаос, распад только ускорится. Не вызывайте бесов. Вызывайте ангелов, – Безлетов мягко улыбнулся патетичности своего высказывания, тем самым размыв привкус патетики. – Настоящие события происходят в мире духа, Саша. Истинный русский человек – это носитель взыскующего духа, нищий духом, – Безлетов нарочито часто повторял слово «дух», каждый раз усиливая повторение голосом, – человек, взыскующий правды. Россия должна уйти в ментальное измерение... – заключил он. – Так будет лучше.

– А нам куда уйти? – внезапно спросил вернувшийся и стоящий за плечом Безлетова Венья.

Безлетов полуобернулся, не удостоив Веню полным взглядом, и тут же вернулся к чашечке кофе. Допил, посмотрел на дно, потряс зачем-то, поставил на стол, оставил на столе гладкую купюру – оплату за кофе плюс чаевые – и, быстро попрощавшись, вышел.

Никто не сказал ни слова. Негатив по-прежнему смотрел в телевизор.

– Как вам... беседа? – спросил Саша на улице.

Ближе всех к Саше шел Негатив, и ему пришлось ответить первому.

– Мне все равно, – ответил Негатив. – Я не пойму только, на хера ты нас сюда привел?

– Да ну его, – высказал мнение и Веня.

Рогов молчал.

– Леш! – позвал Саша.

– А ты услышал что-то новое? – ответил Рогов, явно отвлекшись от каких-то своих мыслей.

Саша пожал плечами.

– Он, – сказал Рогов, – наверняка лет десять назад был либералом и требовал... Всего того, что они требовали тогда... раба по капле... покаяния, прочего...

– Да, – согласился Саша, чувствуя внутреннюю радость от того, что по-прежнему спокойного Рогова слова Безлетова вообще никак не тронули.

– И тогда он наверняка не руководствовался теми идеями, что сейчас высказывает. О том, что устранить надо. И что вмешательство методами жестокой хирургии не божественно. Как они вообще любят Бога поминать, чуть что. И когда они кромсали тупым ножом по живому телу, он был для них очень кстати, и теперь вот. Чтобы ни делали они... Бог мальчиком на побегушках к ним приставлен?

Рогов остановился и закурил.

– А потом, Саш, ты заметил, он ведь тебя, да и всех нас, считает айсорами, которые обувь чистят, а себя хранителем русского духа... Пусть считает.

– Мы куда идем? – спросил Веня, которому все это уже прискучило.

– Мы идем в народ. Пить водку, – ответил Рогов. – Условия таковы: помещение должно быть теплым, а водка – дешевой. Где у вас самая дешевая водка?

– У вокзала, – ответил Саша. – Это близко.

Судя по вкусу, мясная начинка у пельменей была заменена тщательно пережеванной бумагой, скорей всего промокашкой. Майонез, сизым мазком прилипший к краю тарелки, кислил.

– Хлеб... мокрый... – брезгливо сказал Рогов и сделал движение отложить почти прозрачный, как лепесток дорогой рыбы (и, кажется, рыбой пахнувший), ломтик ржаного хлеба, но Негатив перехватил хлеб и переложил себе в тарелку, прямо на майонез.

У Саши аппетит был отменный, и после ста граммов водки, разлитой по трем граненым высоким стаканам, пельмени показались вполне съедобными. Да еще под пиво...

Привокзальная забегаловка была полна шумными, дурно одетыми людьми, в основном мужского пола. Еды на их столах не наблюдалось – только водка в стаканах. Ее выпивали сразу, двигая сизыми, словно палеными кадыками. Иногда опорожнивший сто грамм с надеждой и сомнением заглядывал в свой пустой стакан.

Выделялся небритый и мрачный, неясного возраста мужчина в грязном камуфляже, похоже, безрукий.

Саша и Веня сами не заметили, как после третьего стакана начали разговаривать громко, бурно жестикулируя при этом. Негатив, как и прежде, молчал, тщательно пережевывая хлеб и пельмени. Саша заметил еще: если сам он, зайдя в кафе, несколько раз осмотрелся – что за люди вокруг, – то Негатив, напротив, даже не поинтересовался, кто здесь пьет и не закусывает. Казалось, что Негатив пришел к себе домой, где все ему давно известно. Рогов не шумел и

не пьянел, только по лицу его пошли розовые, с четкими границами, пятна. Саша смотрел на Рогова, в хмельном удивлении отмечая, что если обвести пятно на левой щеке, получится Африка. Саша несколько раз вытягивал шею, пытаясь разглядеть форму пятна на правой щеке Рогова, пока Лешка не кивнул вопрошающе: что такое?

Саша по-щенячьи закрутил головой: ничего.

Рогов мягко улыбался.

– Лех, скажи мне еще раз об этом разговоре, – попросил Саша. – Ты очень славно говоришь.

– А что тут говорить... – вновь искренне удивился Рогов. – Послушать того типа, так проще лечь и умереть. Русским, следуя его логике, вообще надо было ложиться и умирать каждые сто лет. Как только они собирались «пускать кровь». Я не вижу никакой разницы между сегодняшним днем и тем, что было... очень давно. Я даже не вижу разницы между собой и дедом моим.

Рогов говорил медленно, словно прокручивая каждое слово в мясорубке.

– Нет, Леш, погоди, а как же «пускать кровь»? Это действительно будет?

– Все пускают...

– Безлетов бы сказал, что все пускают кровь чужим, а мы – своим.

– У него Безлетов фамилия?... – переспросил Рогов и, не ожидая ответа, сказал: – Ну и что, это плохо? Честнее своих резать, чем в соседние страны лезть с ногами.

– А мы не лезли, да?

– Ну, одно дело вывезти на Камчатку товарный вагон прибалтов, которые, не явись красноармеец в буденовке, легли бы под Гитлера, а другое – сбросить бомбу на город с детьми и всех сразу убить. Разница есть?

– Есть.

– Мы режем друг друга, потому что одни в России понимают правду так, а вторые – иначе. Это и резня, и постижение.

– Постигение, да, – повторил Саша, – такое постижение, что...

– Такое, да.

Пацаны вышли отлить, Негатив остался сторожить недопитую водку и недоеденные, остывшие пельмени.

Отхожее место находилось непосредственно за кафе и легко определялось по резкому запаху.

Они не полезли в эту хлюпающую гниль и стали втроем у серой стены соседнего здания. Получилось так, что пацаны расположились на возвышении, вследствие чего изливавшееся из них немедленно потекло назад. Моча пацанов сливалась и пузырилась.

Они вернулись легкие и взбодрившиеся.

– Еще пива? – предложил Саша.

– А как же... – ответил Веня. Рогов кивнул.

Когда Саша вернулся с бутылками, небритый мужик в камуфляже уже стоял у стола, причем – молча. Правый рукав его куртки висел, руки у него действительно не было.

– Я слышал, вы говорили... – трудно произнес он и замолчал, запнувшись.

– Тонко подмечено, – продолжил Саша. В хмелю он становился задиристым.

Веня засмеялся. Рогов улыбнулся краем губ. Негатив остался непроницаем.

– Вы говорили, что мы никуда не лезли, братки зеленые. А как же Афган?

Он приосанился и медленно выговорил:

– Водитель сто семьдесят шестого горномотострелкового полка. Четырнадцать раз под обстрелом. Два ранения, братки зеленые.

«Братки зеленые» он произнес без хамоватого нажима – просто как «пацаны».

Афганец посмотрел в глаза Саше, стоящему прямо напротив него с открытой бутылкой пива в руке. Саша вдруг понял, что мужик почти трезв.

– Вы, я слышал, тут о партии какой-то говорили. О политике. Чего вам, братки зеленые, в политике? Эти обезьяны в пиджаках только и ждут, чтобы нас упечь в какую-нибудь, блядь... Курить есть у кого?

Саша подумал и дал афганцу сигарету.

– Здесь не курят, – предупредил он, улыбаясь.

– Я везде курю. Вы ведь из партии какой-то, да? – допытывался он.

– Из партии, – ответил Саша. – «Союз созидających».

– А, «союзнички». Господин Костенко и товарищи... – улыбнулся зверовато афганец. – Удивились, что знаю? Думали, бомж какой привокзальный на водку стреляет? А я вообще не пью. Я здесь на людей смотрю. Ходят целыми днями, и никто не знает, как... – он обвел всех внезапно почерневшими глазами, – как сжимаются ягодицы, когда летит заряд миномета. Никто не знает, что от страха можно не дрожать, а блевать. Они не знают, а мне от этого иногда хорошо, иногда обидно.

– Слышь, земель, – сказал Веня, – ты иди себе. Мы тут с друзьями отдыхаем.

– Не, погоди, вот я хочу сказать... – афганец неприязненным движением отстранил руку Вени, положенную ему на плечо. – Я вас «эсэсовцами» не считаю. Ну, флаг ваш похож на фашистский, это все херня. Вы хотите правительство завалить, я тоже хотел бы их потоптать. И тех, кто войска в Афган ввел, и тех, кто вывел. И тех, кто войска в Чечню ввел. И тех, кто вывел. И тех, кто опять ввел. И чеченцев заодно. Я только не понимаю, вот все эти ваши яйца, которыми вы кидаетесь, – это что, блядь, серьезно? Я хоть и без руки, я сейчас же готов пойти и ваш флаг водрузить на Кремль... Я одной рукой задушить могу и тем более застрелить. Только я не пойду, потому что вы клоуны. Ясно, братки зеленые?

Рогов в это время доедал пельмени. Негатив крутил головой по сторонам – похоже, ему не хватало телевизора. Лишь Веня весело оглядывал пацанов и посередь монолога афганца шепотом, с мягкой улыбкой, спросил Сашу:

– Может, его уделать?

– Погоди... – ответил Саша шепотом.

– Чего молчите? – повысил голос афганец.

– А что ты спросил? – ответил Рогов, проглотив последнее, остававшееся на тарелке, и запив с мучительной гримасой съеденное пивом.

– Я, браток зеленый...

– Не называй меня так, – попросил почти ласково Рогов. Африка на его щеке приобрела горячие, ярко-розовые оттенки.

– Я спрашиваю: что вы мне можете предложить? – афганец вперился в Рогова. – Вот мне? Вы, «союзнички»?

В уголках рта афганца запеклась белая слюна.

– Я кишки под Гератом дембелю Хазину Михаилу засовывал в живот. И после этого я пойду с вами яйцами кидаться? Ты засовывал кишки кому-нибудь?

Рогов смотрел на афганца. Саша – на Рогова.

– Ты мне не поверишь, – сказал Рогов медленно, – но бросать яйца страшнее, чем засовывать кишки.

Афганец скривил улыбку:

– Ты засовывал?

– Да, и много раз. Вытаскивал, засовывал. И кишки, и легкие, и печень, и желудок.

– Шут-ни-чок? – по слогам выговорил афганец.

– Я не шутничок. Я патологоанатом.

Афганец раскрыл рот, чтобы ответить что-то наглое и злое, но Рогов, не повышая голоса, оборвал его:

– Под Гератом я не был, но был под обстрелом в других местах, и я тебе еще раз повторяю: метнуть помидор в премьера – как минимум не менее страшно, чем бросить гранату. Понял? После того как ты бросишь гранату, тебя могут убить. Зато сразу после броска помидором тебе наверняка сломают челюсть или ребро и чуть позже могут сделать так, что тебя опустят в камеру. Тебе что страшнее – быть опущенным или быть убитым?

– Ты, браток...

– И вот еще что: если ты хочешь метнуть вместо помидора гранату – вперед. Мы оценим этот поступок. Я оценю этот поступок. Если пока не хочешь – не надо. Возможно, еще захочешь – тебе ведь, как я понимаю, надо, чтобы все вокруг стреляли – тогда и самому начать проще. В толпе, да? Я надеюсь, что чуть позже у тебя будет такая возможность.

И здесь Рогов улыбнулся.

– Давай, земляк! – Лешка хлопнул афганца по плечу. – Счастливо. До встречи. До встречи, до встречи. Давай.

Все отвернулись от афганца, хотя он еще стоял, лишь на шаг отойдя от стола.

– Может, покурим? – спросил Веня.

Они вышли на улицу, обойдя смотрящего в пол и покачивающего головой афганца.

Саша достал последнюю сигарету и выбросил пустую пачку. Прикурил и сразу почувствовал, что сильно захмелел.

– У нас там еще что-нибудь осталось? – спросил Саша, в основном для того, чтобы услышать собственный голос, оценить, насколько внятно он звучит.

– Пиво я забрал, – Веня поднял руки с двумя недопитыми бутылками пива. – Остальное мы выпили.

Саша обрадовался, что вопрос был понят.

Пошевелил губами и скомандовал, ухмыляясь:

– Тронулись!

Они взяли еще пива и к нему какой-то дряни. Саша перешел уже в ту стадию, когда не пьют, но наливаются. Заполняют свое существо безвкусной жидкостью.

Откуда-то взялась водка, и, выпивая ее, закусывать приходилось сушеным кальмаром – одним сушеным хвостиком на троих. Пацаны надкусывали этот хвостик аккуратно, с очень серьезным, хотя и несколько туповатым видом.

Они сходили на перрон, послушали, как гроыхает грузовой состав, и от этого грохота Саша окончательно одурел.

Привокзальные виды расплылись, и лишь изредка возникали перед глазами резко и неожиданно – то яркая вывеска, то чье-то лицо, то навязчивая ограда, которую приходилось преодолевать, мучая все свои вестибулярные устройства.

Поддерживать разговор не получалось, зато нравилось выкрикивать что-то время от времени.

Завидев милицейский патруль, пацаны, хохоча и выкрикивая несуразности, убежали в сторону опустевших рыночных рядов, где днем шла торговля чем ни попадя.

Саша упал на четвереньки и даже немного попил из лужи, где в свете фонаря кривилось и кривлялось его мутное лицо. Пацаны, убредшие вперед, Сашиной выходки не заметили.

Торговые ряды представляли собой железные, местами помятые прилавки. Каждый прилавок имел приваренную на двух стояках крышу из цельного проржавелого листа.

Почему-то, пока пацаны шли по торговым рядам, раздавался грохот и прилавки дрожали, а некоторые даже угрожающе раскачивались, рискуя упасть. Видимо, прилавки задевали, а возможно, даже пинали.

Пацанам встретился человек кавказской национальности, он шел навстречу, подняв плечи и ссутулившись. Его с огромной радостью приветствовали словами «салам алейкум», а также «Аллах акбар».

Кавказцы «держали» этот рынок, Саша знал. Но сейчас-то, ближе к полночи, все они, собравшие выручку, должны были разойтись. Впрочем, здесь неподалеку размещались несколько, два или три, баров и еще казино, где отдыхали молодые люди – гортанно и громко разговаривающие, низкорослые, в кожаных куртках и черных остроносых «казаках».

За одним из прилавков пацаны разыграли сценку «продажа сыном гор недопитой бутылки пива русским синегалам».

Развеселившийся и раскрасневшийся Рогов потешно изображал кавказского торговца, расхваливал достоинства пива и редкую форму бутылки. Веня торговался, бестолковаясь и дуруя. Саша, даже в пьяном виде отметивший хорошее чувство юмора у казалось бы не склонного к хохмам Рогова, помогал Вене торговаться – размахивая руками, что-то крича и посекундно роняя изо рта сигарету, которую стрельнул у кого-то, у кого, не помнил. И даже Негатив, позволивший себе полбутылочки пива, кривил губы, сияясь улыбнуться. В отсветах мигающей вывески недалеко стоящего бара было видно, что глаза Негатива потеплели.

– Она же... того... полупустая... – говорил Веня, тыча кривым пальцем в бутылку.

– Э-э-э, какой ты, а? Э-э-э... – отвечал Рогов, качая головой. – Я и беру с тебя только за посуду.

– И пробки нет...

– А что тебе пробка, э-э-э? Ты пить будешь или пробкой баловаться?

Никто не приметил, как они появились, скалящие белые зубы, чернявые, человек шесть. Они, верно, курили на ступенях у бара, заинтересовались «торговлей» и успели всерьез обидеться, послушав разговор. У одного была открытая бутылка пива в руке. Он ее взбалтывал зачем-то.

Все подошедшие были молодыми, Саша отметил это даже в пьяном своем полубреду, но огорчиться такому обстоятельству уже сил не хватило.

Со взрослыми можно было бы договориться, это да. С молодыми – только путем извинений и унижения; все пацаны поняли это мгновенно.

Несколько секунд стояли молча.

Саша покрутил головой, почувствовав вдруг, что немного отрезвел от жесткого возбуждения.

Он привык в начале любой драки произносить хотя бы несколько слов.

– Чего хотим? – спросил он и аккуратно бросил свой почти докуренный, но еще дымящийся бычок в горлышко пивной бутылки – той, что держал в руке один из кавказцев. Саша даже успел заметить его странно белые, но покрытые густыми черными волосами пальцы. Кавказец недоуменно посмотрел вслед бычку в горлышко бутылки. Бычок, упав в пиво, издал легкий шип.

Дальше все происходило гораздо быстрее.

Саша со вздохом откинул назад голову и с разлету обрушил свой лоб на переносицу кавказца. Что-то хряснуло смачно, бутылка выпала из белых рук и покатилась, разливая жидкость. Кавказец упал на колени, охватив лицо руками, и больше не вставал.

Саша хотел красиво вписать второму кавказцу, и сам получил в челюсть хлесткий, но не очень сильный удар. Он мотнулся, отскочил на несколько шагов назад, видя, как Веня кинул и попал той бутылкой, что была предметом торговли, в лицо одному из противников.

...Саша падал, много матерился, редко попадал, но и сам получал мало – за счет того, что отбегал от нападающего и, отбежав, все время принимал, как ему казалось, угрожающие боевые позы...

Краем глаза заметил, что Веня дерется с двумя уже на проезжей части, и что им сигналият машины, пытающиеся объехать дерущихся.

...Еще заметил Негатива, который сидел на поверженном верхом, нанося жесткие и, по-видимому, очень болезненные удары в лицо лежащему под ним.

Следующим кадром была тормознувшая около Вени машина. Из нее вылетели человек пять ладных ребят, сразу громко, будто загоняя добычу, завопивших на своем наречии. Веня пятился, размахивая какой-то железякой.

Из бара бежали по тротуару еще несколько человек, и они смели бы всех, если б Рогов не обрушил на их пути прилавков, затем второй и третий.

С одной стороны прилавки примыкали к стене, с другой – к невысокому, чуть выше пояса забору, ограждавшему проезжую часть. Пока набежавшие из бара кавказцы лезли через забор, чтобы обождать организованную Роговым баррикаду, Лешка успел за шкибот стащить Негатива с забиваемого им человека и сбить с ног того, с кем безуспешно дрался Сашка.

– Веня! Сюда! – орал при этом Рогов.

Веня бросил железяку в наседавших на него, махнул через забор, на дорогу откуда-то вылетело сразу две милицейских машины, и под ор милиции и вой сирен все собравшиеся у рынка рванули в разные стороны.

Саше казалось, что он бежит впереди всех. В горле странно клокотало.

Он слышал топот за спиной и был уверен, что это Лешка и Негатив, и Веня там где-нибудь неподалеку.

Оборачиваться было бессмысленно – Саша, чертыхаясь и рискуя налететь на что-нибудь, двигался в такой темноте, что лиц бегущих позади было не разглядеть. Он так и влетел бы в бетонный забор, если бы не услышал, как кто-то, быстро шаркая по стене, перебирается через него.

Потрогал руками – забор, да.

Саша подпрыгнул и полез следом.

«Рынок! – догадался Саша, спрыгнув с забора. – Я на рынке!»

После драки и бега текла обильная слюна, и Саша длинно сплевывал и мотал головой, стряхивая повисшее на лице. Цеплялось за подбородок. Вытирал рукавом.

Вокруг высились ангары, освещения почти не было.

Тяжело дыша, Саша бестолково потоптался в темноте и узрел, как ему показалось, ящики, пустую тару, то ли составленную друг на друга, то ли поваленную возле стены ближайшего ангара.

Саша устремился туда, ища схрон, где можно прикрыться ящиками и дышать, дышать, пуская длинные, тягостные слюни.

Совершенно обессиленный от произошедшего и от алкоголя тоже, он полез промеж ящиков, стремясь пробраться ближе к стене, и наступил на что-то мягкое. На сидящего человека.

– Эй! – сказал Саша негромко и сел на корточки, а затем на четвереньки, чтобы не упасть... еще раз плюнул длинно и прищурился, разглядывая сидящего. – Кто это?.. Руки-то уברי, блин.

Сидящий перед ним убрал руки от лица. В упор Саша разглядел, что это кавказец – юный, почти пацаненок, но в кожанке, в «казачках», в джинсах.

– Ты хули тут? – спросил Саша сипло, без злобы.

Пацан смотрел растарашенно – то ли испуганно, то ли нагло.

Саша еще подышал, опустив голову и высунув язык, обвисающий горячим и сладковатым на вкус.

– Двигайся... – сказал Саша и уселся рядом, обняв пацаненка за плечи. – Не ссы, сейчас пересидим и разойдемся... Где мои пацаны, черт меня... Не знаешь, где мои пацаны?

– Нет.

- «Нэт...» – передразнил Саша. – Тебя как зовут? – спросил он, помолчав.
- Саша.
- И меня Саша. Только ты ведь не Саша, а какой-нибудь Саха. Алху. Аслахан. Да? Ему не ответили.
- Саша имел вполне русскую привычку к пьяным бестолковым разговорам.
- Ты откуда?
- Ереван.
- О... – сказал Саша неопределенно. – Вы чего нас бить начали, а? Саха!

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.